



КРИСТИНА БЕЙКЕР КЛАЙН
КАРТИНА МИРА

Кристина Клайн
Картина мира

«Фантом Пресс»

2017

УДК 821.111
ББК 84.(7)

Клайн К. Б.

Картина мира / К. Б. Клайн — «Фантом Пресс», 2017

ISBN 978-5-86471-778-3

Для Кристины Олсон весь мир был ограничен пределами семейной фермы у небольшого прибрежного городка. Она родилась в доме, где жили нескольких поколений ее семьи. После тяжелой болезни в детстве Кристина постепенно потеряла способность ходить. Казалось, ей уготована тихая, незаметная жизнь. Но Кристина стала музой для великого американского художника Эндрю Уайета. Дружба, длившаяся почти двадцать лет, подарила миру десятки картин, написанных Уайетом в окрестностях фермы Олсонов. Сама же Кристина обрела бессмертие на знаменитой картине «Мир Кристины». В этом романе переплелись факты и вымысел. В его фокусе – трудная судьба женщины, которая оказалась накрепко связана с судьбой одного из величайших художников двадцатого века. «Картина мира» – роман простой и пронзительный, о хрупкости жизни и силе искусства, о бремени и о благословении семейной истории, о том, что даже самый крошечный клочок мира может обратиться в картину мира.

УДК 821.111
ББК 84.(7)

ISBN 978-5-86471-778-3

© Клайн К. Б., 2017
© Фантом Пресс, 2017

Содержание

Пролог	7
Чужак на пороге	8
1939	8
1896–1900	14
Моя депеша в мир	28
1940	28
1900–1912	32
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Кристина Бейкер Клайн

Картина мира

Моему отцу, показавшему мне мир

Очень странная это была связь. Случаются иногда такие вот диковинные соприкосновения. У нас имелось кое-что общее: я был хилым ребенком, которого держали дома. Поэтому и жило меж нами это безмолвное чувство, чудесное, совершенная естественность. Мы просиживали часами, не произнося ни единого слова, а затем она говорила что-то, и я ей отвечал. Один репортер как-то раз спросил ее, о чем мы беседовали. Она ответила: “Ни о чем пустяковом”.

ЭНДРЮ УАЙЕТ

“Картина мира” – художественная проза. У некоторых персонажей есть прототипы из жизни и времени Кристины Олсон, однако черты характеров и житейские ситуации в этом романе – целиком и полностью плод авторского воображения. Поэтому “Картину мира” следует читать исключительно как художественный вымысел, а не как биографию Кристины Олсон. Подлинные люди, события, учреждения, организации и географические места упоминаются только ради создания атмосферы. Все прочие персонажи, случаи и разговоры выдуманы автором, их не следует воспринимать как подлинные.

A Piece of the World by Christina Baker Kline

Copyright © 2017 by Christina Baker Kline

В оформлении обложки использованы фрагменты картины Эндрю Уайета “Мир Кристины”

© Ш. Мартынова, перевод на русский язык, 2017

© “Фантом Пресс”, издание, 2017

Пролог

Позднее он говорил, что боялся показывать мне картину. Думал, мне не понравится, как он меня изобразил, – как я ползу по полю, скребя землю пальцами, ноги сзади вывернуты. Бесплодный лунный пейзаж, пырей да тимофеевка. Обшарпанный дом вдали, маячит, словно тайна, что сокрытой не останется. Далекое окна, мутные, непроницаемые. Колеи в шипастой траве, оставленные незримой машиной, ведут в никуда. Грязновато-водянистые небеса.

Люди считают эту картину портретом, но это не так. Не совсем. Эндрю и в поле-то не было: он придумал картину, сидя в доме, это совершенно другой взгляд. Убрал камни, деревья и надворные постройки. Размеры хлева неверны. Да и сама я не хрупкое юное создание, а вековуха средних лет. Тело тоже на самом деле не мое – возможно, даже голова не моя.

Но одно он ухватил верно: временами прибежище, а временами – тюрьма, это здание на холме всегда было мне домом. Всю жизнь я стремлюсь к нему, желаю удрать из него, я обездвижена его властью надо мной. (Увечным можно быть очень по-всякому, как я узнала со временем, у паралича множество разновидностей.) Мои предки сбежали из Сэлема в Мэн, но, как и все, кто пытается улизнуть от прошлого, они притащили прошлое с собой. В месте рождения в человеке прорастают неискоренимые семена. От уз семейной истории не удрать, как бы далеко ни уезжал. И скелет дома, бывает, хранит костный мозг всего, что случилось когда-то.

Кто вы, Кристина Олсон? – спросил он меня как-то раз.

Никто никогда не задавал мне такого вопроса. Пришлось на некоторое время задуматься.

Если действительно хочешь меня узнать, ответила я, придется начать с ведьм. А затем перейти к мальчикам-утопленникам. К ракушкам из дальних краев – их, ракушек этих, целая комната. К шведскому моряку, застрявшему во льду. Придется рассказать тебе о лживых улыбках гарвардца и почерке блистательных бостонских врачей, о плоскодонке на сеновале и об инвалидном кресле в море.

И рано или поздно – хотя никто из нас тогда про это не знал – мы окажемся здесь, на этом месте, внутри и вне мира картины.

Чужак на пороге

1939

Я вожусь с лоскутным одеялом, сидя в кухне ярким июльским полуднем, квадратики ткани, подушечка для булавок и ножницы – на столе рядом, и тут до меня долетает рокот автомобильного мотора. Выглянув в окно, смотрящее на бухту, вижу, как на поле в сотне ярдов от дома сворачивает фургон. Мотор глушат, пассажирская дверца распаивается, выходит Бетси Джеймз, смеется, что-то кричит. Мы не виделись с прошлого лета. На ней белая кофточка с ляжкой-хомутом, полотняные шорты, на шее – красная косынка. Я смотрю, как Бетси приближается к дому, и изумляюсь, до чего иначе она выглядит. Милое округлое лицо исхудало, вытянулось; каштановые волосы отросли до самых плеч, глаза темные, сияют. Красный мазок губной помады. Вспоминаю ее девятилетней, когда она впервые пришла в гости, как сидела позади меня на крыльце, маленькие, проворные пальчики заплетали мне волосы. И вот уж ей семнадцать – и она вдруг женщина.

– Здравьете, Кристина, – говорит она у сетчатой двери, запыхавшись. – Давно не виделись!

– Заходи, – отзываюсь я со своего кресла. – Ничего, если я встать не буду?

– Конечно, ничего. – Она заходит в дом, и в комнате вдруг пахнет розами. (Когда это Бетси начала душиться?) Подскакивает к моему креслу, обнимает меня за плечи. – Мы приехали несколько дней назад. Как же я рада, что мы снова здесь.

– Судя по тебе, так и есть.

Она улыбается, на щеках – всплески румянца.

– Как у вас с Алом дела?

– Ой, ну ты сама знаешь. В порядке. Как всегда.

– Как всегда – это хорошо, да?

Улыбаюсь. Разумеется. “Как всегда” – это хорошо.

– А что вы делаете?

– Да мелочь. Детское одеяльце. Лора опять беременна.

– Какая вы щедрая тетушка. – Она протягивает руку, берет квадратик ткани – кусочек ситца, розовые цветы с зелеными листьями на буром фоне. – Узнаю эту ткань.

– Разрезала старое платье.

– Помню его. Белые пуговики, юбка в пол, да?

Вспоминаю, как мама привезла баттериковские выкройки,¹ переливчатые пуговицы и ситец. Вспоминаю, как Уолтон впервые увидел меня в этом платье. “Я тобою заворужен”.

– Давно дело было.

– Ну хорошо же, что старому платью подарят новую жизнь. – Она бережно укладывает квадратик обратно на стол, перебирает остальные: белый муслин, темно-синий хлопок, шамбре, слегка замаранное чернилами. – Ух ты, сколько клочков и кусочков! Настоящую семейную реликвию создаете.

– Ну не знаю, – говорю я. – Просто обрезки, да и всё.

¹ Эбенизер Баттерик (1826–1903) – американский портной, изобретатель и предприниматель в сфере моды; Баттерик и его супруга Эллен Огаста Поллард Баттерик считаются изобретателями выкроек на кальке, предложенных в разных размерах; выпуск изданий с выкройками начался в 1863 г. и революционизировал домашнее шитье. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

– Курочка по зернышку... – Она смеется и выглядывает в окно. – Совсем забыла! Заскочила за чашкой воды, если вы не против.

– Садись, дам тебе стакан.

– Ой, это не мне. – Она показывает на фургон в поле. – Мой друг хочет написать ваш дом, но ему вода для этого нужна.

Прищурившись, смотрю на автомобиль. На крыше сидит юноша, глядит в небо. У него здоровенный блокнот в одной руке, а в другой вроде бы карандаш.

– Это сын Эн-Си Уайета,² – говорит Бетси театральным шепотом, будто кто-то может подслушать.

– Чей?

– Вы же знаете Эн-Си Уайета. Знаменитого иллюстратора? “Остров сокровищ”? А, “Остров сокровищ”.

– Ал обожал ту книгу. Кажется, она у нас еще есть где-то.

– Думаю, у любого мальчика в Америке она где-то есть. Короче, его сын – тоже художник. Мы с ним сегодня познакомились.

– Вы с ним сегодня познакомились, а ты уже разъезжаешь с ним на его машине?

– Да, он... не знаю. Кажется, ему можно доверять.

– Твои родители не против?

– Они не знают. – Робко улыбается. – Он появился в доме нынче утром, искал моего отца, но родители уехали кататься под парусом. Я открыла дверь. Ну и вот.

– Такое иногда случается, – говорю я. – Он откуда?

– Из Пенсильвании. У его семьи тут летний дом, в Порт-Клайде.

– Ты, похоже, ужас сколько про него знаешь, – говорю я, вскидывая бровь.

Она вскидывает бровь в ответ.

– Собираюсь узнать еще больше.

Бетси забирает чашку с водой и возвращается к фургону. По тому, как она идет – плечи расправлены, подбородок вперед, – понятно, что она знает: он за ней наблюдает. И ей это нравится. Вручает юноше чашку и забирается к нему на крышу фургона.

– Кто это был? – У черного хода стоит мой брат Ал, вытирает руки о ветошь. Никогда я не могу учуять его появление: тихий, как лис.

– Бетси. И какой-то юнец. Пишет картину с нашего дома, по ее словам.

– С чего бы это?

Я пожимаю плечами.

– Люди, они странные.

– Это уж точно.

Ал устраивается в кресле-качалке, достает трубку и табак. Принимается набивать да прикуривать, мы оба шпионим за Бетси и юнцом – подглядываем в окно, однако стараемся делать вид, что ничего такого не делаем.

Чуть погодя юноша слезает с крыши, кладет блокнот на капот автомобиля. Подает Бетси руку, та съезжает сверху прямо к нему в объятия. Даже с такого расстояния я чувствую жар меж ними. Они стоят рядом, разговаривают с минуту, а затем Бетси тянет его за руку, следом за собой... о господи, она тащит его в дом. У меня мгновенная паника: пол не метен, платье у меня испачкано, волосы нечесаны. У Ала комбинезон заляпан грязью. Давно я не тревожилась, что меня увидят глаза чужака. Впрочем, пока парочка идет к дому, я замечаю, что юноша смотрит на Бетси, и понимаю, что волноваться не о чем. Он видит лишь ее одну.

² Newell Convers (Ньюэлл Конверз Уайет, 1882–1945); так привычно именуют в англоязычном мире Уайета-старшего, американского художника и иллюстратора. Один из самых знаменитых его проектов – иллюстрации к “Острову сокровищ” Р. Л. Стивенсона (издание 1911 г.).

Вот уж он у сетчатой двери, на пороге. Стройный, улыбчивый, весь трепещет пылом, занимает собой весь дверной проем.

– Какой чудесный дом, – бормочет он, открывая дверь, вытягивает шею, чтобы оглядеть комнату. – Свет здесь невероятный.

– Кристина, Алвэро, это Эндрю, – говорит Бетси, входя следом за ним.

Он склоняет голову.

– Надеюсь, это ничего, что я вламываюсь без приглашения. Бетси божилась, что ничего.

– Мы тут не церемонимся, – говорит мой брат. – Я Ал.

– Я с такими людьми душа в душу. И зовите меня Энди, прошу вас.

– Ну а я – Кристина, – говорю я.

– Я зову ее Кристи, но больше никто, – добавляет Ал.

– Значит, Кристина, – говорит Энди, взглядываясь в меня. В этом взгляде я не чую никакого суждения, лишь некое антропологическое любопытство. И все же от его пристального внимания краснею.

Поспешно обращаюсь к Алу:

– Помнишь ту книгу, “Остров сокровищ”? Бетси говорит, это его отец рисовал для нее картинки.

– Правда? – Лицо у Ала светлеет. – Такие картинки никак не забыть. Я ту книгу читал, может, раз десять. Кто его знает, только эту книгу и дочитал-то вообще, наверное, если подумать. Хотел быть пиратом.

Энди расплывается в улыбке. Зубы у него крупные, белые, как у кинозвезды.

– Я тоже. До сих пор, на самом деле.

У Бетси в руках – громадный альбом. Гордая, как новоиспеченная мать, подносит его мне.

– Посмотрите, что у Энди получилось, Кристина, – за такое короткое время.

Бумага все еще сырая. Смелыми мазками Энди свел дом к белому ящику с двумя щипцами, обращенными к морю. Поля вокруг – зеленые и желтые, там и сям щетинятся остриями травы. Почти черные ели, лиловая ширь гор, водянистые облака. Хотя эту акварель рисовали быстро – есть в мазках движение, словно на них дует ветер, – мальчик явно понимает, что делает. Окна – лишь намек, но возникает странное чувство, что в них что-то видно. Дом словно врос в землю.

– Это всего лишь набросок, – говорит Энди, подходя ближе ко мне. – Я еще доработаю.

– С виду – приятное место для житья, – говорю я. Дом гнездится укромно, уютно – сказочная версия того, в котором на самом деле живем мы с Алом, единственный намек на упадок – пятна синего и бурого.

Энди смеется.

– Это вы мне расскажите. – Ведет двумя пальцами по бумаге, поясняет: – Такие чистые линии. Есть в этом доме что-то... Вы давно здесь живете?

Киваю.

– Я чую. Что в этом доме битком историй. Я б лет сто его писал, как пить дать, и не надоело бы нисколько.

– О, надоело бы, – сказал Ал.

Мы все смеемся.

Энди хлопает в ладоши.

– Слушайте, знаете что? У меня сегодня день рождения.

– Правда? – говорит Бетси. – А ты мне не сказал.

Он обнимает ее и притягивает к себе.

– Не сказал? У меня такое чувство, будто ты уже и так все обо мне знаешь.

- Пока нет.
- Сколько вам лет? – спрашиваю я.
- Двадцать два.
- Двадцать два! А Бетси всего семнадцать.
- *Зрелые* семнадцать, – выпаливает Бетси, к щекам приливает краска.
- Энди вроде бы забавляется.
- Ну, мне не очень есть дело до возраста. Или до зрелости.
- Как собираетесь праздновать? – спрашиваю я.
- Он вскидывает бровь на Бетси.
- Я бы сказал, что праздную прямо сейчас.

* * *

- Бетси не появляется несколько недель – и вдруг влетает в кухню и едва ли не пляшет.
- Кристина, мы помолвлены, – задохнувшись, выпаливает она, хватая меня за руку.
 - Помолвлены?!
 - Кивает.
 - Представляете?
 - Ты такая юная, собираюсь было сказать, слишком это поспешно, вы едва знакомы...
 - А затем задумываюсь о своей жизни. О долгих годах, об ожидании, которое ни к чему не привело. Я видела, каково им вдвоем. Видела искру между ними. “У меня такое чувство, будто ты уже и так все обо мне знаешь”.
 - Конечно представляю, – отвечаю я.
 - Через десять месяцев прилетает открытка. Бетси и Энди поженились. Когда они приезжают на следующее лето в Мэн, я вручаю Бетси свадебный подарок: две наволочки, которые я сделала сама и вышила цветами. Четыре дня провозилась с французскими узелками, чтобы получились маргаритки и крошечные петельки-листочки: мои руки, негнущиеся, узловатые, уже не слушаются, как прежде.
 - Бетси пристально разглядывает вышивку и прижимает наволочки к груди.
 - Я буду их беречь. Они безупречны.
 - Улыбаюсь. Они не безупречны. Линии неровные, лепестки цветов – острые, чрезмерно крупные, на хлопке чуть заметны следы распущенных швов.
 - Бетси всегда была добра.
 - Показывает мне фотографии их свадебной церемонии в глубинке штата Нью-Йорк: Энди – в смокинге, Бетси – в белом, в волосах – гардении, оба сияют счастьем. Ей думалось, рассказывает она, что после пятидневного медового месяца они отправятся на машине в Канаду, на свадьбу к близкому другу, но Энди сказал, что ему нужно вернуться к работе.
 - Он мне говорил еще до свадьбы, что так оно и будет, – сообщает Бетси. – Но я до последнего не верила.
 - Ты, значит, одна поехала?
 - Качает головой.
 - Осталась с ним. Я знала, на что шла. Работа – это всё.

* * *

Из кухонного окна я вижу Энди, он бредет по полю к дому, выбрасывает одну ногу вперед, а вторую приволакивает, походка неровная. Странно, что я сразу этого не заметила. Вот уж он в дверях, в забрызганных краской сапогах, рукава белой хлопчатобумажной рубашки

закатаны до локтей, под мышкой – блокнот для набросков. Он стучит – два раза, уверенно – и тянет на себя сетчатую дверь.

– У Бетси кое-какие дела. Ничего, если я тут побуду?

Пытаюсь держаться невозмутимо, но сердце у меня колотится. Не помню, когда последний раз была один на один с мужчиной, если не считать Ала.

– Да пожалуйста.

Он заходит внутрь.

Он выше и ладнее, чем я запомнила, темно-песочные волосы, пронзительные голубые глаза. Есть что-то лошадиное в том, как он потряхивает головой и переминается с ноги на ногу. Дрожкий гул сердца.

В Ракушечной комнате он проводит рукой по каминной полке, стирает пыль. Берет мамин треснутый белый чайник, крутит в руках. Укладывает в чашечку ладони бабушкин наутилус помпилиус, листает тонкие, как паутинка, страницы ее старой черной Библии. Десятилетиями никто не открывал рундук моего несчастного утопшего дяди Алвэро: крышка скрипит, когда Энди ее поднимает. Достает обрамленный ракушками портрет Авраама Линкольна, вглядывается в него, кладет на место.

– В этом доме ощущается прошлое, – говорит Энди. – Слои поколений. Напоминает мне о “Доме о семи щипцах”:³ “Столько всяческого людского опыта состоялось здесь, что сами балки будто сочились – словно бы влагой сердца”.

Знакомые строки. Помню, читала этот роман в школе, давным-давно.

– Мы вообще-то с Нэтэниэлом Хоторном родня, – говорю я ему.

– Интересно. А, да... Хэторн. – Подходя к окну, он показывает на поле. – Я видел надгробия, там, на кладбище. Хоторн пожил в Мэне, насколько я понимаю?

– Этого я не знаю, – признаюсь я. – Наши предки приехали из Массачусетса. Почти двести лет назад. Трое мужчин, посреди зимы.

– А откуда в Массачусетсе?

– Из Сэлема.

– А чего переехали?

– Моя бабушка говорила, пытались сбежать от позора – из-за связи с их родственником, Джоном Хэторном. Он был главным судьей в деле ведьм. Добравшись до Мэна, они отбросили концевую “е” в фамилии.⁴

– Чтобы скрыть связь?

Я пожимаю плечами.

– Судя по всему.

– Теперь я вспоминаю, – говорит он. – Нэтэниэл Хоторн тоже уехал из Сэлема – и тоже сменил написание фамилии. Но многие его сюжеты – переделки истории его семьи. *Вашей* семейной истории, видимо. Нравственные аллегории про людей, стремившихся искоренить злодейство в других и никак не видевших его в себе.

– Вообще-то, – говорю я ему, – есть легенда, что одна осужденная ведьма, стоя на эшафоте и ожидая петли, пробормотала проклятие: “Пусть Бог покарает семейство Джона Хэторна”.

– Так ваша семья проклята! – восклицает он с восторгом.

– Может быть. Кто знает? Моя бабушка говаривала, что те Хэторны притащили сэлемских ведьм за собой. Дверь между кухней и сараем никогда не закрывала, чтоб ведьмы не задерживались.

³ “The House of the Seven Gables” (1851, рус. пер. “Дом о семи шпилях”) – второй роман американского прозаика-романтика Нэтэниэла Хоторна (Натаниэль Готорн, 1804–1864), один из образов готического романа.

⁴ Судебный процесс, проходивший в г. Сэлем (Новая Англия) с февраля 1692 по май 1693 г. Фамилия “Хэторн” пишется “Hathorne”.

Оглядывая Ракушечную, он произносит:

– А вы что думаете? Правда это?

– Я ни одной ведьмы не видела, – отвечаю. – Но двери держу открытыми.

* * *

С течением лет некоторые байки из истории семьи пускают корни. Эти байки передают из поколения в поколение, и у них накапливаются плоть и смыслы. Нужно учиться просеивать их, отделять факты от выдумок, вероятное от недостоверного.

И вот что я поняла: иногда самые невероятные байки – подлинны.

1896–1900

Мать кладет мне на лоб отжатую тряпицу. Холодная вода катится по виску, на подушку, я поворачиваю голову, чтобы смазать струйку. Смотрю в мамины серые глаза, сощуренные от беспокойства, между ними – вертикальная черта. Мелкие морщинки вокруг поджатых губ. Гляжу на брата Алвэро, он стоит рядом с матерью, ему два года, глаза круглые, серьезные.

Мама наливает воду из белого чайника в стакан.

– Попей, Кристина.

– Улыбнись ей, Кэти, – говорит ей бабушка Трайфина. – Страх – зараза. – Она уводит Алвэро из комнаты, мама берет меня за руку, улыбается одним лишь ртом.

Мне три года.

У меня ломит кости. Закрываю глаза, и кажется, будто падаю. Ощущение не совсем уж неприятное – как тонуть в воде. Под веками краски – пурпур, ржа. Лицо так горит, что мамина рука у меня на щеке кажется ледяной. Глубоко вдыхаю, ловлю запахи древесного дыма и пекущегося хлеба – и уплываю. Дом скрипит, движется. Храп из соседней комнаты. Боль у меня в костях вытаскивает меня обратно к поверхности. Открыв глаза, ничего не вижу, но знаю, что мама ушла. Мне так холодно, что кажется, будто тепло не было никогда, в тишине у меня громко стучат зубы. Слышу, как сама поскуливаю, но звук, кажется, исходит от кого-то другого. Не знаю, давно ли скулю, но этот звук утешает, отвлекает меня от боли.

Одеяло подымается. Бабушка говорит:

– Ну-ну, Кристина, тише. Я тут. – Забирается ко мне в постель – в толстой фланелевой ночной рубашке, прижимает меня к себе. Я пристраиваюсь к изгибу ее ног, ее грудь – мне подушка, мягкая мясистая рука – у меня под шеей. Она трет мои холодные руки, и я засыпаю в теплом коконе, пахнущем тальком, льняным маслом и пекарным порошком.

* * *

Сколько себя помню, всегда звала бабушку Маммеей. Это такое дерево, оно растет в Вест-Индии, где бабушка побывала с моим дедушкой, капитаном Сэмом Хэторном, в одной из их многочисленных поездок. У маммеи короткий толстый ствол, всего несколько крупных ветвей, заостренные зеленые листья и белые цветки на концах веток, словно ладони. Оно цветет весь год, плоды созревают в разное время. Когда дедушка с бабушкой провели несколько месяцев на острове Святой Люсии, бабушка варила там варенье из этих плодов, по вкусу они как перезревшая малина.

– Чем спелее, тем слаще. Как я, – говаривала она. – Не зови меня бабушкой. Маммея – то, что надо.

Иногда я застаю ее в одиночестве, она сидит и смотрит из окна Ракушечной, нашей передней гостиной, где мы выставляем напоказ сокровища шести поколений моряков, привезенные в рундуках из странствий по белу свету. Я знаю, бабушка тоскует по деду, который умер в этом доме за год до моего рождения.

– Ужасное это дело – найти любовь всей жизни, Кристина, – говорит она. – Слишком уж хорошо понимаешь, что потерял, когда ее больше нет.

– У тебя есть мы, – говорю я.

– Я любила твоего деда больше, чем у нас есть ракушек в Ракушечной, – говорит она. – Больше, чем растет былинки в поле.

* * *

Мой дед, как и его отец и дед до него, начал жизнь в море юнгой и дослужился до капитана. После женитьбы на моей бабушке он забрал ее с собой в странствия – перевозил лед из Мэна на Филиппины, в Австралию, Панаму, на Виргинские острова, а в обратный путь набивал трюмы бочонками бренди и рома, сахаром, пряностями. Ее истории об их с дедом диковинных путешествиях стали семейной легендой. Она странствовала с ним по морям много десятилетий, даже детей с собой брала – трех сыновей и дочку, пока в разгар Гражданской войны дед не настоял, чтобы они сидели дома. Каперы конфедератов сновали туда-сюда вдоль Восточного побережья, словно пираты-мародеры, и не жалели ни единого судна.

Однако дедовы предосторожности семью уберечь не смогли: все три мальчика сгинули юными. Один – от скарлатины; четырехлетний тезка деда, Сэмми, утонул однажды в октябре, когда Капитан Сэм был в морях. Бабушка вплоть до марта не находила в себе сил выложить эту новость. “Нашего любимого мальчика больше нет на земле, – сообщала она. – Пишу – и едва не слепну от слез. Никто не видел, как он упал, кроме одного мальчугана, тот прибежал рассказать своей матери. Искра жизни ускользнула. Дорогой муж, ты точнееобразишь мое горе, чем я способна его описать”. Через четырнадцать лет их сына-подростка Алвэро, служившего матросом на шхуне у Кейп-Кода, смыло в шторм за борт. Весть о его смерти пришла телеграммой, бесцеремонной и безликой. Тело так и не нашли. Рундук Алвэро прибыл в Хэторн-Пойнт много недель спустя, крышка причудливо изрезана его рукой. Безутешная бабушка часы напролет водила пальцами по контурам картинок – дамочек в кринолинах и с откровенными декольте.

* * *

В моей спальне тихо и ярко. Свет просачивается сквозь кружевные занавески, сплетенные Маммеей, на полу от них – затейливые узоры. Медлительно плавают пылинки. Потягиваясь на постели, я вынимаю руки из-под одеяла. Не болит. Двинуть ногами боюсь. Боюсь надеяться, что мне лучше.

Брат Алвэро заглядывает в комнату, вцепившись в дверную ручку. Таращится на меня, а затем вопит, ни к кому в отдельности не обращаясь:

– Кристи проснулась! – Смотрит на меня долго и пристально, потом закрывает дверь. Я слышу, как он показательно топает вниз по лестнице, слышу голоса мамы и бабушки, далекий лязг кастрюль в кухне и вновь отплываю в сон. А дальше Алвэро трясет меня за плечо ручонкой коаты и приговаривает: – Просыпайся, лентяйка, – а мама, протискиваясь в двери огромным беременным животом, ставит поднос на круглый дубовый столик у кровати. Овсянка, тост и молоко. Отец – тенью за нею. Впервые за невесть сколько времени меня настигает му́ка – похоже, голод.

Подкладывая мне под голову подушки и помогая сесть, мама улыбается по-настоящему. Подносит ложку с кашей мне ко рту, ждет, пока я проглочу. Ал говорит:

– Чего ты ее кормишь, она не маленькая. – Мама велит ему помолчать, но смеется и плачет одновременно, слезы катятся по щекам, приходится промокать лицо фартуком. – Ты чего плачешь, мам? – спрашивает Ал.

– Потому что твоя сестра поправится.

Помню, как она это произнесла, но лишь годы спустя пойму, что это означает. Это означает, что мама боялась: я не поправлюсь. Все они боялись – все, за исключением Алвэро, меня и нерожденного ребенка: все трое увлеченно росли и не сознавали, до чего скверно

все может складываться. А взрослые знали. Бабушка, при ее трех умерших детях. Мама – единственная выжившая, все ее детство пронизано печалью, и первенца она назвала в честь брата, утонувшего в море.

* * *

Проходит день, затем – неделя. Я выживу, но что-то не так. Лежа в постели, чувствую себя тряпкой, отжатой и расстеленной сушиться. Сесть не в силах, едва ворочаю головой. Ногами пошевелить не могу. Бабушка усаживается с вязанием в кресло напротив, поглядывает на меня поверх очков без оправы.

– Ну-ну, дитя. Отдыхай. Потихонечку.

– Кристи не дитя, – говорит Ал. Он лежит на полу, катает зеленый паровозик. – Она больше меня.

– Да, она большая девочка. Но ей нужен отдых, чтобы поправиться.

– Отдых – это глупо, – говорит Ал. Ему хочется, чтобы я стала как раньше, чтобы мы бегали в хлев, играли в прятки в стогах, тыкали палками в сусличьи норки.

Согласна. Отдых – это глупо. Я устала от этой узкой кровати, от ломтика окна над ней. Хочу на улицу, носиться по траве, лазать по лестницам. Во сне я скачу галопом вниз по холму, руки раскинуты, сильные ноги несут меня, травы хлещут по лодыжкам, напрямик к морю, закрыв глаза и задрвав подбородок к солнцу, двигаюсь легко, без боли, не падая. Просыпаюсь на кровати – простыни в поту.

– Что со мной такое? – спрашиваю у мамы, когда она укрывает меня свежей простынкой.

– Ты такая, какой Господь тебя сотворил.

– Зачем он сотворил меня такой?

Веки у нее трепещут – не просто закрыла-открыла глаза, а ошарашенно смаргивает, а затем надолго жмурится; я научилась распознавать: так она делает, когда не знает, что сказать.

– Приходится доверять его замыслу.

Бабушка вяжет в кресле, ничего не говорит. Но когда мама уходит вниз с моими простынями, произносит:

– Жизнь – одно испытание за другим. Ты просто узнаешь это прежде прочих.

– Но почему я такая одна?

Бабушка смеется.

– Ох, дитя, ты не одна.

И она рассказывает мне о моряке в их команде, у которого была одна нога, и он скакал по палубе на деревянном штыре, а еще у одного был горб, из-за которого он семенил, как краб, у еще одного было по шесть пальцев на обеих руках. (Вот же прытко тот парень узлы вязал!) У одного ступня была с вилок капусты, у другого кожа в чешуе, как у ящера, а еще она однажды видала сросшихся близнецов... У людей бывают болезни всех мастей, говорит она, и, если ума им хватает, времени на нытье они не тратят.

– Все мы несем свое бремя, – говорит она. – Ты свое теперь знаешь. Это хорошо. Оно никогда не застанет тебя врасплох.

Маммоя рассказывает историю о том, как они с Капитаном Сэмом потерпели крушение в шторм, плавали на утлом плотике посреди океана, дрожали одни-одинешеньки, со скудным провиантом. Солнце садилось и вставало, садилось и вставало; еда и вода истощались. Они уже отчаялись спастись. Она распустила одежду на лоскуты, привязала тряпку к веслу и сумела воздвигнуть этот флаг. Недели напролет не видели они никого. Облизывали растрескавшиеся от соли губы и закрывали обожженные солнцем веки, сдавались неминуемой

судьбе, призывали забыть и смерть. А затем, как-то раз вечером, перед закатом, точка на горизонте сделалась кораблем, державшим курс прямо на них, – оттуда заметили трепыхавшиеся тряпки.

– Самые важные качества, какими бывает наделен человек, – железная воля и упорный дух, – говорит Маммея. Она утверждает, что я наследую эти качества от нее и что в точности так же, как она пережила то кораблекрушение, когда покинула ее всякая надежда, и смерть троих сыновей, когда ей казалось, что ее сердце раскрошится, словно ракушка, в песок, я разберусь, как жить дальше, что бы ни случилось. Большинству людей повезло меньше, говорит Маммея, они происходят не из такого живучего рода.

* * *

– До горячки с ней все было в порядке, – говорит мама доктору Хилду, пока я сижу на смотровом столе в медицинском кабинете в Кушинге. – А теперь едва ходит.

Врач тыкает и тискает, берет кровь, проверяет у меня температуру.

– Ну-ка, посмотрим, – говорит он, хватая меня за ноги. Мнет мне кожу пальцами, прощупывает ноги до самых косточек в ступнях. – Да, – бормочет он, – нарушения. Интересно. – Берет меня за щиколотки, говорит маме: – Трудно сказать. Ступни деформированы. Подозреваю что-то вирусное. Рекомендую скобы. Гарантий, что поможет, нет, но, возможно, попробовать стоит.

Мама сжимает губы.

– А иначе никак?

Доктор Хилд преувеличенно морщится, словно ему так же трудно сказать, как нам – услышать.

– Ну, в том-то и дело. Мне кажется, что иначе никак.

Скобы, в которые засаживает меня доктор Хилд, стискивают мне ноги, как средневековый пыточный инструмент, они режут мне кожу на кровавые лоскуты, я вою от боли. Через неделю этого мученья мама отвозит меня к доктору Хилду, и он снимает скобы. Увидев мои ноги, мама охает от ужаса: они покрыты гноящимися ранами. Шрамы у меня до сих пор.

Остаток своих дней я буду чураться врачей. Когда доктор Хилд заглядывает к нам – как там Маммея, или мамина беременность, или папин кашель, – я убираюсь куда подальше, прячусь на чердаке, в хлеву, в сараюшке-уборной на четыре дырки.

* * *

На сосновых досках в кухне я учусь ходить по прямой.

– Одна нога перед другой, как канатоходец, – объясняет мама, – по стыку.

Равновесие удерживать трудно: ходить я могу только внешними краями стоп. Будь это настоящий канат в цирке, заявляет Ал, я бы уже десять раз упала и разбилась насмерть.

– Не спеши, – говорит мама. – Тут не гонки.

– Тут гонки, – говорит Ал. Он легко вышагивает по параллельному стыку – выверенная хореография маленьких стоп в чулках, всего несколько мгновений – и вот уж он добирается до конца. Вскидывает руки: – Я выиграл!

Делаю вид, что спотыкаюсь, и, падая, сбиваю его с ног, Ал приземляется прямым на копчик.

– Уберись с дороги, Ал, – ругает его мама. Тот, растянувшись на полу, зло пялится на меня. Пялюсь в ответ. Ал тощий и сильный, как стальная рейка или ствол молодого деревца. Он проказливее меня – ворует яйца из-под кур и пытается кататься верхом на коро-

вах. Внутри я чувствую что-то жесткое и колкое. Зависть. Обиду. И еще кое-что: неожиданное удовольствие от мести.

Я так часто падаю, что мама пришивает к моей одежде ватные подушечки – на локтях и коленках. Сколько б я ни упражнялась, не могу заставить ноги двигаться, как им положено. Но они наконец набирают силы достаточно, чтоб я могла играть в прятки в хлеву и гонять по двору кур. Алу на мою хромоту плевать. Он тянет меня за собой – лазать по деревьям, кататься на старом буром муле Денди, собирать хворост для пляжного пикника. Мама вечно ругает и одергивает его, чтоб шел себе, оставил меня в покое, но Маммея помалкивает. Я же вижу: она считает, что мне все это полезно.

* * *

Просыпаюсь в темноте под звуки дождя, барабанищего по крыше, и от суматохи в спальне родителей. Мама стонет, Маммея бормочет. Голоса отца и еще двоих, чужих, доносятся снизу из прихожей. Я выскальзываю из постели, влезаю в шерстяную юбку и толстые носки, цепляюсь за перила – полупадаю, полускольжу вниз по лестнице. Там стоит мой отец и коренастая краснолицая женщина с косынкой на завитых волосах.

– Иди в постель, Кристина, – говорит папа. – Глухая ночь.

– Младенцы часов не наблюдают, – нараспев говорит женщина. Сбрасывает с плеч пальто, отдает отцу. Я цепляюсь за балясину, а женщина, как барсучиха, устремляется вверх по узкой лестнице.

Ползу за ней и распахиваю дверь в мамину спальню. Маммея – там, склоняется над постелью. Что там, на высокой кровати с балдахином, я не очень вижу, но слышу мамин стоны.

Маммея оборачивается.

– Ой, дитя, – говорит она огорченно. – Тебе тут не место.

– Ничего. Девочке надо знать, что к чему на свете, рано или поздно, – говорит барсучиха. Дергает головой в мою сторону. – Не подсобишь ли? Скажи отцу, пусть воду нагреет на плите.

Я смотрю на маму, она бьется и извивается.

– С ней все будет хорошо?

Барсучиха супится.

– Мама твоя в полном порядочке. Ты слышала, что я сказала? Кипяченую воду. Младенец на подходе.

Добираюсь до кухни, сообщаю папе, он ставит на черную чугунную плиту “Гленвуд” котел с водой. Пока мы ждем, он показывает мне карточные игры – “блэкджек” и “чокнутые восьмерки”, – чтобы скоротать время. Ветер хлещет дождем по дому – звук такой, словно у сухой фасоли в полом стебле. Еще утро, а мы уже слышим тоненький крик здорового младенца.

– Его зовут Сэмюэл, – говорит мама, когда я забираюсь к ней на кровать. – Он же безупречный, а?

– Угу, – говорю я, хотя считаю, что у ребенка лицо такого же цвета яблока-дичка, что и у тетки-барсучихи.

– Может, станет путешественником, как его дед Сэмюэл, – говорит Маммея. – Как и все Сэмюэлы-мореходы.

– Боже упаси, – говорит мама.

* * *

– Кто такие Сэмюэлы-мореходы? – спрашиваю я потом у Маммеи, пока мама с младенцем спят и мы сидим одни в Ракушечной.

– Твои предки. Из-за них есть ты, – отвечает она.

Рассказывает мне историю, как в 1743 году трое из Массачусетса – два брата, Сэмюэл и Уильям Хэторны, и сын Уильяма Александр – сложили пожитки на три телеги и отправились в долгий путь до провинции Мэн, посреди зимы. Прибыли на какой-то полуостров в глуши, что две тысячи лет был местом встречи индейских племен, и поставили палатку из шкур – такая выдержала бы грядущие месяцы снега, льда и паводка по теплыни. За год они свалили сколько-то леса и выстроили три бревенчатых дома. И дали этому клочку земли в Кушинге, Мэн, имя – Хэторн-Пойнт.

Через пятьдесят лет сын Александра Сэмюэл, морской капитан, выстроил на фундаменте родовой лачуги двухэтажный дом на деревянном каркасе. Сэмюэл женился дважды, вырастил в этом доме шестерых детей и умер за семьдесят. Его сын Аарон, тоже морской капитан, женился дважды и поднял здесь восьмерых детей. Когда Аарон умер и его вдова решила продать дом (выбрала жизнь попроще, в городе, поближе к пекарне и бакалее), Хэторны-мореходы расстроились. Через пять лет сын Аарона Сэмюэл IV выкупил дом обратно и восстановил родовое владение землей.

Сэмюэл IV был моим дедом.

Все эти капитаны – в морях по многу месяцев кряду. Их многочисленные жены и дети – вверх-вниз по узкой лестнице. И поныне, говорит Маммея, этот старый дом на мысе Хэторн-Пойнт полнится их призраками.

* * *

Когда твой мир мал, запоминаешь наизусть каждый его дюйм. Ощупью знаешь его в темноте – помнишь, где что, даже во сне. Поля жесткой травы, что катятся вниз, к каменистому берегу и к морю за ним, уголки и щелки, где прятаться и играть. Почерневшая от сажи плита в кухне – всегда теплая. На подоконнике – герань, в кляксах красного, как платок фокусника. Бродячие коты в хлеву. Воздух, что пахнет соснами и водорослями, курицей, жарящейся в духовке, и свежевспаханной землей.

Однажды летним вечером мама в кухне глядит на расписание приливов и говорит:

– Обувайся, Кристина, хочу тебе кое-что показать.

Я зашнуровываю бурые ботинки и иду за ней по полю среди певучих цикад и пикирующих ворон к семейному погосту, ноги у меня справляются, я почти успеваю за мамой. Веду пальцами по испятнанному мхом полуразвалившимся надгробиям, надписи едва разберешь. Старейшее – над Джоанн Смолли Хэторн. Она умерла в 1834-м, в тридцать три, матерью семерых детей мал мала меньше. Когда Джоанн помирала, рассказывает мама, она умолила мужа похоронить ее на родовой земле, а не на городском кладбище в нескольких милях отсюда, – чтобы дети могли навещать могилу.

Здесь же похоронены и ее дети. Все Хэторны после нее похоронены здесь.

Мы идем дальше, к берегу на южной стороне Хэторн-Пойнта, над Поцелуйной бухтой и бухтой Кленового сока, где река Святого Георгия впадает в залив Масконгас – в Атлантический океан. Здесь насыпан древний курган из ракушек, мама говорит, его оставили индейцы абенаки, жившие тут летом, давным-давно. Я пытаюсь представить, каково тут было, прежде чем выстроили этот дом, прежде трех бревенчатых хижин, до того, как эти места обнаружили поселенцы. Представляю себе девочку-абенаки – такая же, как я, она собирает на ска-

листом берегу ракушки. Отсюда море видно далеко-далеко. Стерегла ли она горизонт, краем глаза, ожидая чужаков? Догадывалась ли вообще, до чего изменится ее жизнь, когда они явятся?

Вода совсем низкая. Я бреду по камням, но мама ничего не говорит, просто останавливается и ждет. За болотистыми равнинами – остров Малый, дикий акр берез и сухой травы. Мама показывает на него.

– Нам туда. Но ненадолго, иначе прилив нас поймает. – Наш путь – сплошные препятствия из скользких от водорослей валунов. Я пробираюсь медленно и все равно спотыкаюсь и падаю – царапаю ладонь о наросшие морские желуди. Ботинки промокли. Мама оборачивается. – Вставай. Почти дошли.

Оказавшись на островке, она расстилает шерстяной плед на пляже, где сухо. Из котомки достает сэндвич с яйцом на толстом ломте хлеба, огурец, два куска жареного яблочного пирога. Вручает мне половину сэндвича.

– Закрой глаза и почувствуй солнце, – говорит она, я слушаюсь, откинувшись на локти, задрав подбородок к небу. Векам тепло и желто. Деревья шуршат позади нас, словно туго накрахмаленные юбки. Рассольный воздух. – Куда отсюда стремиться-то?

Поев, мы собираем ракушки – светло-зеленые шарики актиний и перламутровые пурпурные мидии.

– Смотри, – говорит мама, показывая на краба, появляющегося в приливной лужице: он пробирается меж камнями. – Вся жизнь – здесь, в этом месте. – Она всегда старается, как умеет, чему-нибудь меня научить.

* * *

Жить на ферме означает вечно воевать со стихиями, говорит мама. Приходится выставлять против неукротимой природы, умирять хаос. Фермеры трудятся на земле, с мулами, коровами и свиньями, а дом – святое прибежище. Будь оно не так – ничем мы не лучше животных.

Мама в постоянном движении – метет, моет, чистит, готовит, протирает, стирает, вывешивает белье. По утрам печет хлеб на дрожжах из хмеля, что вьется за сараем. Когда я спускаюсь утром, на плите всегда горшок каши, на поверхности – тонкая пенка, я снимаю ее и отдаю коту, пока мама не смотрит. Бывает, овсяные оладьи и вареные яйца. Малышка Сэм спит в колыбели в углу. Когда посуда после завтрака убрана, мама принимается за большую дневную трапезу: куриный пирог, или тушеное мясо, или рыбная похлебка; давленная или вареная картошка; фасоль или морковь, свежая или из банок – по сезону. Что останется – появится на ужин, превратившись в рагу или жаркое.

Пока работает, мама поет. Любимая песня – “Красное Крыло”,⁵ про индейскую деву, тоскующую по воину, ушедшему на бой, и чем дольше она ждет, тем больше отчаивается. Горе горькое – ее возлюбленный погибает:

Нынче Красному Крылу луна сияет,
Вздыхает ветер, сова рыдает,
Ее воин под звездой почивает,
И плачет сердце Красна Крыла.

⁵ “Red Wing” (1907) – американская популярная песня, музыка Керри Миллза, слова Тёрленда Чэттэуэя. Некоторый анахронизм заключается в том, что к 1907 году и героине книги, и реальной Анне Кристине Олсон было уже 14 лет.

Трудно понять, почему маме нравится такая грустная песня. Миссис Краули, моя учительница в кушингской четвертой школе Уинга, говорит: греки верили, что созерцание боли в искусстве помогает радоваться своей жизни как она есть. Но когда я рассказываю об этом маме, та пожимает плечами.

– Да просто мелодия нравится. От нее спорится работа по дому.

Как только я дорастаю до обеденного стола, моя обязанность – сервировать. Мама учит меня столовым приборам:

– Вилка – слева. С-Л-Е-В-А. Пять букв, как и в слове “вилка”. В-И-Л-К-А, – говорит она и показывает мне, как правильно: помещает вилку рядом с тарелкой в положенном месте. – Ножик и ложку клади справа. “Ножик и ложка” – одиннадцать букв. К-Л-А-Д-И С-П-Р-А-В-А, как в “ножик и ложка”. Н-О-Ж-И-К И Л-О-Ж-К-А.

– Л-О-Ж-К-А, – говорю я.

– Да.

– И чашка, попить. Ч-А-Ш-К-А П-О-П-И-Т-Ь. Правильно?

– Вот умница-то! – откликается с кухни Маммее. К семи годам я уже умею спускать ножом с картошки тонкие полосочки кожуры, натирать сосновые полы щелоком, стоя на четвереньках, ухаживать за хмелем позади сарая, собирать дрожжи для хлеба. Мама показывает мне, как шить и штопать, и хотя с моими непослушными пальцами управляться с иглой непросто, настроена я решительно. Пробую и пробую, искалываю себе указательный палец, разлохмачиваю кончик нитки.

– Отродясь такого упорства не видела! – восклицает Маммее, но мама – ни слова, пока мне не удастся вдеть нитку в иголку. И тогда она говорит:

– Кристина, да ты и впрямь упорная.

* * *

Маммее не разделяет маминого неприятия грязи. Что такого страшного случится, если по углам скопится пыль или тарелки полежат в мойке? Ее любимые предметы потрепаны временем: старая плита “Гленвуд”, кресло-качалка у окна, с ветхим тростниковым сиденьем, ручная пила с поломанной ручкой в углу кухни. У каждой вещи своя история, говорит она.

Маммее пробегает пальцами по ракушкам на каминной полке в Ракушечной, словно археолог, докопавшийся до руины, оживающей от знания, какое хранит о ней бабушка. Ракушки, которые она обнаружила в рундуке сына Алвэро, занимают здесь свое гордое место, рядом с бабушкиной черной Библией, потрепанной во многих странствиях. Пастельных оттенков ракушки всех форм и размеров выстроились вдоль стен и на подоконнике. Вазы, отделанные ракушками, статуэтки, ферротипии, валентинки, книжные обложки; крошечные изображения родового гнезда на раковине морского гребешка, написанные каким-то давним родственником; и даже обрамленная раковинами гравюра президента Линкольна.

Маммее протягивает мне драгоценную свою раковину – ту, что она отыскала у кораллового рифа на мадагаскарском пляже. Раковина удивительно тяжелая, дюймов восемь в длину, шелковисто-гладкая, в ржавую и белую зебровую полосочку сверху, а книзу – сливочно-белая.

– Называется “наutilus обыкновенный”, – говорит она. – “Наutilus” по-гречески означает “мореход”. – Рассказывает мне о стихотворении, в котором человек находит сломанную ракушку вроде вот такой где-то на берегу. Заметив, что внутренняя спиральная емкость делается все крупнее, он представляет, как моллюск внутри становится все крупнее и крупнее и, вырастая из раковины, перебирается в следующую.

“Построй еще три славных зданья, душа, / Пусть катятся годы спеша! – декламирует Маммее, раскинув руки. – Пока не обрящешь свободы своей, / Отринув тесную скорлупу у

неспящего моря дней”⁶. Это о человеческой природе, понимаешь? Можно долго-долго жить в раковине, где родился. Но однажды она делается тесной.

– И что дальше? – спрашиваю я.

– Ну, дальше, чтобы жить, придется найти раковину покрупней.

Я на миг задумываюсь над этим.

– А если она слишком тесная, а ты все равно хочешь в ней жить?

Бабушка вздыхает.

– Божечки, дитя, ну и вопрос. Думаю, либо нужно набраться храбрости и найти новый дом, либо жить внутри сломанной раковины.

Маммее показывает мне, как украшать книжные обложки и вазы крошечными ракушками – как укладывать их внахлест, чтобы они струились идеально плоским каскадом. Мы приклеиваем ракушки, а она размышляет вслух о смелости и неугомонном духе моего дедушки, как он обводил пиратов вокруг пальца, выживал под девятым валом и в кораблекрушениях. Вновь рассказывает мне про флаг, который она смастерила из тряпок, когда всякая надежда уже была утеряна, и о чудесном видении того далекого корабля, что пришел им на выручку.

– Не забивай девочке голову этими небылицами, – одергивает ее мама, услышав наши разговоры из кладовки.

– Ничего это не небылицы, все по-настоящему. Ты же знаешь, ты сама там была.

Мама появляется в дверях.

– У тебя оно все выходит грандиозным, а сама при этом знаешь, что по большей части было беспросветно.

– *Было* оно грандиозным, – говорит Маммее. – Эта девочка, может, никогда никуда не попадет. Хоть пусть знает, что приключения – у нее в крови.

Мама уходит из комнаты, закрыв за собой дверь, и Маммее вздыхает. Говорит, уму непостижимо, что она вырастила дочь, которая повидала весь мир, но давно уж довольствуется тем, что мир приходит повидаться к ней сам. Говорит, мама осталась бы в старых девах, если б папа не взошел на холм и не предложил ей другой вариант.

Я знаю часть этой истории. Моя мама – единственный выживший ребенок, держалась она поближе к дому. После того как дедушка ушел на покой, они с Маммеей решили превратить дом в летний пансион – чтобы подзаработать, отвлечься от горя. Достроили третий этаж для гостей – еще четыре спальни, и дом стал шестикомнатным, разместили объявление в газетах по всему Восточному побережью. Об очаровательном пансионе и открыточных пейзажах вокруг пошла молва, гости потекли на север. В 1880-х целая семья могла отдыхать в доме Хэторнов за двенадцать долларов в неделю, включая питание.

Работы при пансионе стало много – больше, чем они предполагали, и моя мама потребовалась в помощь. Шли годы, все немногие пригодные холостяки в Кушинге женились или уехали. Когда маме уже было за тридцать, она, как думалось ей и всем вокруг, давно прозевавала время знакомства с мужчиной и влюбленности в него. Жить ей в этом доме и заботиться о родителях, пока не похоронит их на семейном погосте между домом и морем.

– Есть такое старое выражение, – говорит Маммее, – “выдочерить род”. Знаешь, что это означает?

Качаю головой.

– Это означает, что не осталось ни одного потомка-мужчины, чтоб нес дальше фамилию. Твоя мать – последняя из кушингских Хэторнов. Когда она умрет, Хэторны умрут вместе с ней.

⁶ Строки из последней строфы стихотворения “Раковина наutilusа” (The Chambered Nautilus, 1858) американского врача, поэта и писателя Оливера Уэнделла Хоумса-ст. (Холмса, 1809–1894).

– Зато есть Хэторн-Пойнт.

– Да, правда. Но дома Хэторнов-то нет, а? Это теперь дом Олсонов. В честь шведского моряка, на шесть лет моложе твоей матери.

У меня голова кругом.

– Погоди... Папа моложе мамы?

– А ты не знала? – Я опять качаю головой, Маммья смеется. – Многого ты не знаешь, дитя. Йохан Олавсон – так его тогда звали. – Я пробую губами эти странные слова: Йо-хан О-лав-сон. – Едва ли словечко по-английски умел. Матросил на шхуне у капитана Джона Малоуни, который живет в домике там, внизу, со своей женой, – говорит она и показывает рукой за окно. – Знаешь такого, да?

Киваю. Капитан – дружелюбный человек с кустистыми седыми усами и желтыми, как кукуруза, зубами, а жена у него румяная, широколицая женщина, грудь у нее – одно целое с талией. Видала я в бухте и его лодку – “Серебряная пена”.

– Так вот, стоял февраль. 1890-й – скверная зима. Бесконечная. Они шли на Томастон из Нью-Йорка, доставляли дрова и уголь к тамошним известковым печам для обжига. Но когда добрались до залива Масконгас и бросили якорь, налетел шторм. Холодина была такая, что весь корабль за ночь обледенел. Ничего не попишешь – застряли. Через несколько дней, когда лед сделался потолще, они дошли до берега. До этого берега. Твоему отцу податься было некуда, и он остался с Малоуни и его женой до самой оттепели.

– И сколько это?

– Ой, не один месяц.

– И корабль так и стоял во льду все это время?

– Всю зиму, – отвечает бабушка. – Его видно было из этого окна. – Она вскидывает подбородок в сторону кладовки. Из-за двери до меня доносится приглушенный лязг посуды. – Ну и вот, сидел он в том домике всю зиму, внизу, у бухты, и оттуда этот дом – как на ладони. Скучно ему небось было до смерти. Но в Швеции он научился вязать. Соорудил то синее шерстяное одеяло в гостиной, пока жил тут; ты знала?

– Нет.

– А вот – сидя у камелька с Малоуни, что ни вечер. Короче, ты ж понимаешь, как это у людей: слово за слово, истории рассказывают – а уж Малоуни-то эти горазды сплетничать. Они ему и расскажи, уж точно, что этот дом того и гляди выдочерится, и, если Кэти выйдет замуж, все достанется ее супругу. Наверняка не знаю, конечно, могу только догадываться, что там было сказано. Но прожил он тут всего неделю – и решил учить английский. Пошел в город и попросил миссис Краули из “Крыла” поучить его.

– Мою учительницу, миссис Краули?

– Да, она и тогда уже была учительница. Ходил в дом школы каждый день – на занятия. И не успел лед растаять, он уже сменил имя и стал Джоном Олсоном. И однажды забрался сюда через поле и постучал в дверь, открыла твоя мать. Вот и весь сказ. Через год Капитан Сэм помер, а твои родители – поженились. Дом Хэторнов стал домом Олсонов. Все это... – она вскидывает руки, словно дирижер, – ...стало его.

Представляю, как отец сидит у Малоуни в их уютном домике, вяжет то одеяло, а чета одаряет его байками о белом доме вдали: как три Хэторна дали свое новое имя этому клочку земли, и как один выстроил этот самый дом... о старой деве, что живет там сейчас с родителями, трое сыновей у них сгинуло, и наследников, чтоб дальше нести фамилию, не осталось...

– Думаешь, папа... любил маму? – спрашиваю я.

Маммья гладит меня по руке.

– Не знаю. Правда не знаю. Но правда вот такая, Кристина. Любить и быть любимым можно по-всякому. Что б ни привело сюда твоего отца, это теперь его жизнь.

* * *

Больше всего на свете я хочу, чтобы папа мной гордился, но причин у него мало. Во-первых, я – девочка. Хуже того – и я это уже знаю, хотя никто мне такого, вообще-то, не говорил, – я не красавица. Когда рядом никого, я иногда разглядываю свои черты в маленьком мутном осколке зеркала, прислоненном к подоконнику в кладовке. Маленькие серые глаза, один крупнее другого, длинный острый нос, тонкие губы.

– Меня притянула красота твоей матери, – всегда говорит папа, и хотя я теперь знаю, что это лишь часть истории, никаких нет сомнений: она красавица. Высокие скулы, изящная шея, тонкие руки и пальцы. Рядом с ней я чувствую себя неуклюжей, косолапой уткой при лебеде.

Во-вторых – мой недуг. При посторонних папа напряжен и раздражителен, боится, что я споткнусь, налечу на кого-нибудь, опозорю его. Недостаток грации во мне его допекает. Он постоянно бурчит что-то про лечение. Считает, что мне надо было остаться в скобах; боль, говорит он, того стоила бы. Но он понятия не имеет, каково это. Я лучше весь остаток дней буду страдать с кривыми ногами, чем еще раз переживу эти муки.

Из-за его стыда я делаюсь задиристой. Мне плевать, что ему от меня неловко. Мама говорит: не стоит быть такой упрямой и дерзкой. Но у меня, кроме дерзости, ничего нет.

Однажды вечером, когда я в кухне лушу горох, до меня из прихожей долетает разговор родителей:

– Ей что, придется остаться там одной? – спрашивает мама, голос пропитан тревогой. – Ей всего семь, Джон.

– Не знаю.

– Что они будут с ней делать?

– Узнаем, когда ее осмотрят, – говорит папа.

Пальцы страха перебирают мне позвонки.

– Как мы это потянем?

– Корову продам, если надо.

Я ковыляю к ним из кладовки.

– Не хочу ехать.

– Ты даже не знаешь, что... – начинает папа.

– Доктор Хилд уже пробовал. Ничего они не смогут поделать.

Он вздыхает.

– Я понимаю, ты боишься, Кристина, но надо быть смелой.

– Не поеду.

– Хватит. Не тебе решать, – обрывает меня мама. – Будешь делать, как тебе велят.

Наутро, когда рассвет начинает просачиваться в окна, меня грубо толкают в плечо, трясут. Нужен миг, чтобы прийти в себя, – и вот уж я гляжу отцу в глаза.

– Одевайся, – говорит он. – Пора.

Чувствую мягкое движение тяжести и тусклое тепло грелки у ног, словно живот щенка.

– Я не хочу, папа.

– Обо всем договорились. Сама знаешь. Поедешь со мной, – говорит он твердо и тихо.

Когда папа сажает меня в бричку, еще холодно и темновато. Укутывает меня в синее шерстяное одеяло, которое сам связал, а потом еще в два, устраивает подушку у меня за головой. В бричке пахнет старой кожей и мокрой лошадьёю. Папин любимый жеребец Черныш бьет копытами и тихо ржет, мотает длинной гривой, пока папа подтягивает сбрую.

Папа забирается на козлы, раскуривает трубку, дергает поводья, и мы отправляемся в путь по утопанному проселку, бричка поскрипывает на ходу. От тряски у меня ноют

суставы, но вскоре я привыкаю к ритму и засыпаю под убаюкивающий звук – цок-цок-цок; открываю глаза – а там уж холодный желтый свет весеннего утра. Дорогу развезло: от тающего снега кругом ручьи и протоки. Там и сям на запятнанных снежной кашей полях торчат пучки жизнелюбивых крокусов, лиловых, розовых и белых. За три часа мы замечаем лишь нескольких путников. Из зарослей возникает бродячая собака и некоторое время бежит рядом, потом отстает. Папа иногда оборачивается проверить, все ли со мной ладно. Я сижу в своем гнезде из одеял и отвечаю ему злыми взглядами.

Наконец он говорит через плечо:

– Этот врач – знаток. Мне его доктор Хилд посоветовал. Сказал, что этот врач всего несколько анализов возьмет.

– Сколько мы там пробудем?

– Не знаю.

– Больше одного дня?

– Не знаю.

– Он меня разрежет?

Папа взглядывает на меня.

– Не знаю. Незачем об этом тревожиться.

Одеяла колют мне кожу. В желудке вдруг пустота.

– Ты со мной останешься?

Папа вынимает трубку изо рта, приминает пальцем табак. Сует ее обратно в рот, пыхает дымом. Черныш цокает по грязи, мы тащимся дальше.

– Останешься?

Он не отвечает и больше не оборачивается.

До Рокленда мы добираемся шесть часов. Едим крутые яйца и хлеб с коринкой, разок останавливаемся – чтобы конь отдохнул и чтобы сходить до ветра в зарослях. Чем мы ближе, тем больше я боюсь. К приезду спина у Черныша пенится потом. Холодно – а я тоже потею. Папа вынимает меня из брички, ставит на землю, стреноживает коня и вешает ему на шею торбу. Ведет меня по улице за руку, в другой руке держит бумажку с адресом врача.

Меня мутит, я дрожу от страха.

– Прошу тебя, папа, не надо.

– Этот врач, глядишь, поможет тебе.

– У меня все хорошо, как есть. Мне не мешает.

– Ты разве не хочешь бегать и играть, как другие дети?

– Я и так бегаю и играю.

– Оно ухудшается.

– Мне все равно.

– Перестань, Кристина. Мы с твоей матерью знаем, как тебе лучше.

– Нет, не знаете!

– Как ты смеешь разговаривать со мной непочтительно? – цедит он сквозь зубы и быстро оглядывается по сторонам – не заметил ли кто. Я знаю, как претят ему сцены.

Но ничего не могу с собой поделать – уже плачу.

– Прости, папа. Прости. Не надо. Пожалуйста.

– Мы хотим как лучше! – яростно шепчет он. – Чего ты боишься?

Подобно едва заметной приливной силе, что предшествует громадной волне, мои детские протесты и бунты – лишь намек на те чувства, что сейчас поднимаются во мне. Чего же я так боюсь? Что со мной станут обращаться как с подопытной, опять тыкать и ощупывать, без конца. Что врач будет мучить меня дыбами, скобами и спицами. Что от его медицинских опытов мне станет хуже, а не лучше. Что папа уедет, а я останусь у этого врача насовсем, и домой меня никогда не отпустят.

Что, если все окажется впустую, папа останется мной недоволен еще сильнее.

– Не пойду! Ты меня не заставишь! – ору я, вырываясь и бросаясь наутек по улице.

– Ах ты упрямая, безмозглая девчонка! – зло вопит он мне вслед.

Я прячусь в проулке за бочкой, от которой смердит рыбой, сижу на корточках в грязной каше. Вскоре руки у меня уже краснеют и немеют, щеки щиплет. Вижу, как папа мелькает мимо туда и сюда, ищет меня. Разок останавливается на тротуаре, вытягивает шею, вглядывается в сумрак, но затем кричит и идет дальше. Примерно через час я больше уже не могу терпеть холод. Волоча ноги, бреду к бричке. Папа сидит на козлах, курит трубку, синее одеяло набросил себе на плечи.

Смотрит на меня сверху, лицо мрачное.

– Ты готова идти к врачу?

Я смотрю прямо на него.

– Нет.

Отец суров, но сцены он почти не выносит. Я знаю это про него – так узнаешь слабые места людей, с которыми живешь. Он качает головой, посасывает трубку. Через несколько минут резко поворачивается, спрыгивает с козел. Сажает меня в бричку, затягивает на Черныше подпругу, забирается на место. Все шесть часов обратного пути до дома он молчит. Я глазею на чистую линию горизонта, в стальное небо, на темные брызги ворон, взмывающих в воздух. Голые синие деревья только начинают покрываться почками. Все призрачно, лишено цвета – даже мои руки, мраморные, как у статуи.

Домой мы прибываем уже в темноте, мама встречает нас в прихожей, крошка Сэм – у нее на руках.

– Что сказали? – спрашивает она пылко. – Смогут помочь?

Папа снимает шапку и разматывает шарф. Мама переводит взгляд с него на меня. Я вперяюсь в пол.

– Девчонка ни в какуюю.

– Что?

– Ни в какуюю. Ничего не мог я с ней поделать.

Спина у мамы каменеет.

– Не понимаю. Ты не довел ее до врача?

– Она отказалась идти.

– Отказалась идти? – Мамин голос возвышается. – *Отказалась идти?* Она же ребенок.

Папа протискивается мимо нее, снимает пальто на ходу. Сэм начинает скулить.

– Это ее жизнь, Кэти.

– Ее жизнь? – рявкает мама. – Ты ее родитель!

– Она закатила ужасную сцену. Я не смог ее пересилить.

Мама внезапно поворачивается ко мне.

– Глупая девчонка. Потратила папин день впустую и все свое будущее, считай, профукала. Будешь калекой весь остаток дней своих. Довольна?

Сэм принимается плакать. Я горестно качаю головой.

Мама вручает вопящего ребенка папе, тот неловко покачивает его. Склонившись ко мне, мама трясет пальцем.

– Ты сама себе худший враг, барышня. И трусиха. Бестолково это – путать страх со смелостью. – От ее теплого дыхания мне в лицо пахнет дрожжами. – Жалко мне тебя. Но так тому и быть. Никакой от нас больше помощи. Это твоя жизнь, как сказал твой несчастный отец.

* * *

Проснувшись поутру, я растопырываю пальцы, прогоняю немоту, проникшую в меня за ночь. Вытягиваю ступни, ощущаю тесноту в щиколотках, в голеньях, тупую тянущую боль под коленками. Боль у меня в суставах – как приставучий зверек, не отгонишь его. Но жаловаться не могу. Это право я утратила.

Моя депеша в мир

1940

Вскоре Энди вновь у нас на пороге. Неловко волочит треногу, под мышкой – альбом для зарисовок, в зубах зажата кисть.

– Вы не против, если я пристрою где-нибудь мольберт – так, чтоб не мешал? – спрашивает он, сбрасывая груз у дверей.

– В смысле... в доме?

Он кивает подбородком на лестницу.

– Я думал, где-нибудь наверху. Если вы не против. Его нахальство меня слегка потрясает. Кто это является без приглашения в дом к почти незнакомым людям и едва ли не пытается вселиться?

– Ну, я...

– Обещаю, что буду вести себя тихо. Вы и не заметите, что я тут.

Наверху никто не бывал много лет. Там полно пустых спален. И, по правде сказать, я бы не возражала против компании.

Киваю.

– Вот и славно, – говорит он с широкой улыбкой. Собирает вещи. – Я постараюсь не путаться у ведьм под ногами.

Топают вверх по лестнице на второй этаж, шаги его громки. Устраивает мольберт в юго-восточной спальне – в той, что когда-то была моей. Из окна ему видно, как пароходы выбираются из Порт-Клайда, к Монхигэну и в открытое море.

Я слышу сквозь половицы, как он бормочет, притоптывает ногой. Напевает.

Через несколько часов спускается, пальцы замараны краской, в уголках рта – пурпур: брал в зубы кисть.

– Мы с ведьмами вполне уживаемся, – говорит он.

* * *

Бетси появляется и исчезает. Как и мы, она старается не отвлекать Энди от работы. Но в отличие от нас ей трудно усидеть спокойно. Берет полотенце и ведро воды, моет пыльные окна; помогает мне прогнать постиранное белье через отжим и развесить его на веревках. Нацепив мой старый фартук, устраивается на корточках и сажает рядок латука на огороде.

В теплые вечера, когда Энди завершает работу, Бетси появляется с корзиной, и мы отправляемся на пикник у роци, где папа давным-давно выстроил очаг и прибил доски между пнями – чтобы сидеть. Мы с Алом смотрим, как Бетси и Энди собирают плавник и ветки, разводят костер в круге из камней. От костра поля между нами и домом вдали кажутся песками.

Однажды дождливым утром Бетси появляется на пороге, в руке – ключи от машины, и говорит:

– Итак, мадам, нынче ваш день. Куда отправимся?

Я не уверена, что мне нужен мой день, особенно если это означает, что придется прихорашиваться. Оглядывая свое домашнее платье, носки, спущенные у щиколоток, говорю:

– Может, чаю?

– Было б мило. Когда вернемся. Хочу устроить вам приключение, Кристина. – Устремляется к плите, поднимает синий чайник, разглядывает дно. – Ага. Я так и думала. Эта рухлядь того и гляди проржавеет насквозь. Поехали купим новый.

– Да он даже не течет, Бет. Годится и такой.

Бетси смеется.

– Весь этот дом обрушится вокруг вас, а вы все равно будете говорить, что и такой годится. – Показывает на мои тапочки. – Посмотрите, как износился задник. А дырки от моли у Ала в кепке видели? Давайте, дорогая моя. Повезу вас в универмаг в Рокленде.

“Сентер Крейн”. У них есть всё. И не тревожьтесь – плачу я.

Наверное, ржавчину на чайнике я замечала, отвлеченно. И стоптанный задник у себя на старых тапках, и дырки у Ала в кепке. Меня все это не беспокоит. Мне от этого уютно, словно птице в гнезде, выстеленном отбросами. Но я понимаю, что Бетси желает добра. И, по чести сказать, ей, похоже, нужен некий личный проект.

– Ладно, – сдаюсь я. – Поеду.

Бетси с Алом под моросью помогают мне добраться до фургона и устроиться в нем с удобством, и мы отправляемся в долгую дорогу до Рокленда, в получасе езды. У первого знака остановки Бетси тянет руку, гладит меня по колену.

– Видите? Правда же здорово?

– Тебе же самой нравится, а, Бетс?

– Мне нравится быть при деле, – говорит она. – И приносить пользу. Думаю, это вполне себе основные человеческие желания – а вы так не думаете?

Над этим мне приходится поразмыслить. Думаю ли я так?

– Ну, когда-то да. А теперь не уверена.

– Ленивые руки... – говорит она. – Бесовы досуги. Ты так считаешь?

Смеется.

– Мои предки-пуритане – уж точно.

– Мои тоже. Но, может, они ошибались. – Смотрю в лобовое стекло на крупные капли дождя: как они падают и как их тут же сбрасывают дворники.

Бетси косится на меня и складывает губки, словно хочет что-то сказать. Но затем, чуть опустив подбородок, вновь глядит на дорогу.

* * *

Однажды за обедом – суп из колотого гороха с ветчиной – сидим на одеяле, постеленном на траве, Бетси говорит нам с Алом, что отец Энди ее не одобряет. Он против их помолвки: предупреждает Энди, что брак отвлечет его от работы, а дети – и того хуже. Но Бетси, по ее словам, все равно. Эн-Си она считает высокомерным, заносчивым, самовлюбленным. Цветовая палитра у него пошлая, а персонажи карикатурные, подлаженные под рынок.

– Для рекламы “Сливки пшеницы”⁷ и “Кока-Колы”, – говорит она презрительно.

Пока она говорит, я наблюдаю за лицом Энди. Он смотрит на нее растерянно. Не кивает, но и не возражает.

Бетси рассказывает нам, что Энди нужно размежеваться с отцом. Относиться к себе серьезнее. Двигаться вперед настойчивее. Рисковать. Она считает, что палитру следует ограничить цветами построже, упростить композицию образов, отточить тон.

– Ты на такое способен, – говорит она, кладя руку ему на плечо. – Ты пока даже не догадываешься о собственной мощи.

⁷ “Cream of Wheat” (с 1893 г.) – американская торговая марка манной крупы смешанного помола.

– Ой, прошу тебя, Бетси. Я просто балуюсь. Буду врачом, – возражает Энди.
Она закатывает глаза – для нас с Алом.

– У него только что состоялась персональная выставка в Бостоне, он получил за нее награду. Не понимаю, чего он думает, будто станет кем-то еще, а не художником.

– Мне нравится изучать медицину.

– Это не страсть у тебя, Энди.

– Моя страсть – ты. – Он обнимает ее за талию, она смеется, отпихивает его.

– Иди месить темперу, – говорит она.

* * *

По утрам Энди чаще всего приплывает на плоскодонке из Порт-Клайда, в полумиле отсюда. По дороге к дому, помахивая ящиком, набитым красками и кистями, ныряет в загон для кур и появляется оттуда с пятком яиц – несет их в одной руке, как жонглерские шарики. Заходит через боковую дверь, недолго болтает со мной и с Алом, а затем отправляется наверх.

Взгляд Энди притягивает любое потрескавшееся или выцветшее приспособление, любая емкость или инструмент, предметы, какими, было время, пользовались ежедневно, а ныне они все равно что редкости в музее – отмечают жизнь, которой больше нет. Его глазами я вижу знакомые вещи заново. Блеклые розовые обои в крошечный цветочек. Красные герани в цвету на подоконнике, в синих горшках. Перила красного дерева, капитанский барометр на стене в прихожей, глиняный горшок на полке в кладовке и тамошняя синяя дверь, исцарапанная давней собакой.

Иногда Энди забирает альбом и ящик и уходит в сарай, в хлев, в поля. Я наблюдаю за ним из кухонного окна, он бродит по нашим землям, прихотливо петляет в траве, вглядывается в слова на кладбищенских надгробиях, сидит на галечном берегу, уставившись на пенистые волны. Когда возвращается в дом, я предлагаю ему дрожжевой хлеб, прямо из печи, нарезанную свинину, похлебку из пикши, жареный яблочный пирог. Он усаживается на крыльчке у открытой двери, плоская – в ладони, я устраиваюсь у себя в кресле, и мы разговариваем о жизни.

Он – младший ребенок из пяти, рассказывает Энди, у него три заботливых сестры. Из-за вывихнутой правой ноги и большого бедра он в детстве ходил плохо, спортом заниматься не мог, – вы, наверное, заметили мою хромоту? Его донимали грудные хвори. Отец ему был единственным учителем. В школу не пускал, наставлял у себя в студии. Научил всему в истории искусства, как замешивать краски, как натягивать холсты.

– Я никогда не был, как другие дети. Не подходил им. Белая ворона. Отщепенец.

Немудрено, что мы ладим, думаю я.

– Бетси много рассказывала мне о вас с Алом, – продолжает Энди. – Как Ал рубит дрова для всех соседей. А вы шьете платья для дам из города – и даже лоскутные одеяла. – Он показывает на крошечные цветочки у меня на рукаве. – Это вы сами вышили?

– Да. Незабудки, – добавляю я, потому что не очень-то и разберешь.

– Интересно, на что способен ум, правда? – размышляет он вслух, вытягивая руку, сжимая и разжимая кулак. – Как тело приспособливается, если ум отказывается подчиниться. Те сложные стежки на наволочках, что вы нам подарили, и вот эти, на блузке... Трудно поверить, что ваши пальцы способны на такую работу, но вот же – вы их заставили. – Он относит пустую плоскую на рабочий стол в кухне, выхватывает кусок яблочного пирога из сковородки. – Вы – как я. Вы с этим живете. Я таким восхищаюсь.

* * *

Набросок за наброском Энди сосредоточен на доме. Очертания на фоне неба, клякса дыма возносится из трубы. Вид с водостока, из бухты, глазами парящей чайки. Дом, одинокий на холме или окруженный деревьями. Громадный, словно замок, маленький, будто детская игрушка. Надворные постройки то возникают, то исчезают. Но есть и неизменные величины: поле, дом, горизонт, небо.

Поле, дом, горизонт, небо.

– Чего ты его все рисуешь и рисуешь? – спрашиваю я его однажды, пока мы сидим в кухне.

– Ой, не знаю, – отвечает он, завозившись на крылечке. Смотрит в пространство, барабанит пальцами по полу. – Пытаюсь ухватить... что-то. Чувство этого места, а не само место, скорее. Д. Х. Лоренс – он был писателем, а еще художником, – написал так: “Вблизи плоти вещей можно уловить трепет, что творит нас и уничтожает”.⁸ Хочу добиться такого – подобраться близко к плоти вещей. Как можно ближе. А это означает возвращаться к одному и тому же материалу вновь и вновь, всякий раз вкапываясь все глубже. – Он смеется, проводит рукой по волосам. – Может, кажется, что я сумасшедший, да?

– Я просто думаю, что может наскучить.

– Знаю, что вы бы так и решили. – Качает головой. – Люди говорят, я реалист, но, если честно, на моих картинах все на самом деле не вполне... по-настоящему. Я убираю то, что мне не нравится, и замещаю это собой.

– В смысле – собой?

– Это моя маленькая тайна, Кристина, – отвечает он. – Я всегда пишу себя.

* * *

В комнате наверху, где Энди установил мольберт, – односпальная кровать с ржавой скрипучей рамой. Когда Ал после обеда завершает дела, он частенько поднимается туда, перед тем как вздремнуть, и наблюдает, как Энди рисует.

Однажды, болтая в дверях со мной и Алом, Энди походя бросает, что ему не нравится, когда за ним подсматривают. Ему хочется работать уединенно.

– Я тогда не буду приходить, – говорит Ал.

– Ой, нет, я не об этом, – говорит Энди. – Мне нравится, когда вы рядом.

– Но он же подсматривает, – говорю я. – Мы оба подсматриваем.

Энди смеется, качает головой.

– Вы – другое дело.

– Он какой есть, когда рядом с вами, – говорит Бетси, когда я пересказываю ей ту беседу. – Потому что вам с Алом ничего от него не нужно. Вы даете ему делать, что ему хочется.

– Для нас это развлечение, – говорю я ей. – Тут мало что происходит, ты ж понимаешь.

И это правда. Этот дом так долго полнился постояльцами. Когда-то я просыпалась каждое утро под какофонию звуков, проникавших сквозь стены и половицы: папин громовый голос, топот мальчишек по лестнице, нотации Маммеи, чтоб носились потише, собачий лай и крики петуха. А потом стало так тихо. Теперь же я просыпаюсь поутру и думаю: “Сегодня придет Энди”. Он еще даже не явился, а день преобразен.

⁸ Из очерка “Study of Thomas Hardy” (1936) английского прозаика, поэта, драматурга, художника Дэвида Херберта Лоренса (1885–1930).

1900–1912

Зимними вечерами, когда солнце садится в половине четвертого, а в щелях воеет ветер, мы сбиваемся у печки, завернутые в одеяла, пьем теплое молоко и чай в сумрачном свете лампы на китовом жире. Папа показывает Алу, Сэму и мне, как плести узлы, – он научился этому еще матросом: простой, стремя, шкотовый, коровий, лассо. Выдает нам деревянные спицы и пытается научить вязать (хотя мальчишки фыркают, отказываются учиться). Он показывает нам, как вытачивать из дерева свистульки и лодочки. Мы выставляем их на каминной полке, а потом, когда теплеет, берем эти лодочки с собой на залив и смотрим, какая лучше поплывет. Я наблюдаю за отцом – высоким, крупным, с косматой белокурой головой, склоненной над малюткой-лодкой, что-то бормочет себе под нос по-шведски, увещевает суденышко пуститься в бурные воды. Маммее говорила мне, что за несколько месяцев до моего рождения папин брат Берндт приплывал из Гётеборга, на всю зиму, и они вдвоем соорудили мне колыбельку, покрасили ее в белый. Берндт – единственный из навестивших нас Олавсонов.

На низкой полке в Ракушечной, позади громадного рапана, я обнаруживаю деревянный ларчик, набитый пестрым собранием предметов: гребень из китового уса, зубная щетка с конским волосом, раскрашенный оловянный солдатик из древнего детского набора, какие-то камешки и минералы.

– Чье это? – спрашиваю я у Маммее.

– Твоего отца.

– Что это все такое?

– Сама у него спроси.

И вот, тем же вечером, когда папа возвращается с дойки, я вытаскиваю ларчик.

– Маммее говорит, это твое.

Папа жмет плечами.

– Пустяки. Не знаю, чего храню. Просто всякие мелочи, которые я привез из Швеции.

Взвешивая кусок угля в ладони, спрашиваю:

– Зачем ты это хранишь?

Он протягивает руку. Проводит пальцами по металлическим черным граням.

– Антрацит, – говорит он. – Почти чистый уголь. Получился из разложившихся растений и животных, миллионы лет назад. У меня был учитель, который объяснял мне про камни и минералы.

– У тебя в деревне в Швеции?

Кивает.

– В Йаллинье.

– В Йаллинье, – повторяю я. Чужедальнее слово. “Йал-ли-нье”. – Ты, значит, хранил это, чтоб напоминало о доме?

Он шумно фыркает носом.

– Наверное.

– Скучаешь?

– Не очень. По чему-то, видимо, да.

– Например...

– Ой, не знаю. По хлебу, который называется “свартброд”. С лососем и сметаной. И по жареному картофельному пирогу “раггмунк”, какой сестра моя пекла. По бруснике, может.

– А как же... по сестре? По маме?

И тут-то он мне и рассказывает о нищей двухкомнатной хижине с низким потолком, в деревне Йаллинье, где его семья из десяти человек обитала вместе с коровой, их непременно

ной защитой от голода. Отец, пьяница с двумя настроениями – угрюмостью и бешенством – измывался над ним и его семерыми младшими братьями и сестрами и время от времени трудился на торфяных разработках поденщиком, когда подпирало. Постоянный изводящий голод. Не раз и не два, рассказывает папа, избегал он тюрьмы, улепетывая от полиции в долгой погоне по мощеным улочкам, стибрив свиную шкварку или кувшинчик кленового сиропа.

С детства знал он, что будущее у него в Йаллинье незавидное: никакой работы, да и для большого города Гётеборга в шестидесяти милях оттуда умений у него не было. Хоть и хваткий на учебу, в школе он прилежания не выказывал, наловчился лишь читать самые простые тексты. Торговле не обучался. Сам разобрался, как вязать, чтоб помогать маме – та зарабатывала грош-другой шарфами, варежками и шапками, но не по мужчине такой труд, говорит папа.

И вот услышал он о торговом судне, что направляется в Нью-Йорк, и первым, еще потемну, примчался на гётеборгскую пристань.

Капитан фыркнул. “Пятнадцать лет? Слишком зелен, чтоб от мамки уезжать”.

Но папа настроился решительно. “Она по мне не заскучает, – сказал он. – На один рот меньше кормить, на пару грошей больше остальным. Хворым малышам”. Младший братик Свен, и года не было, месяцем раньше умер от голода.

Вот так отправился папа в плавание с капитаном и его малой командой, через весь белый свет, да назад, да вокруг. Месяцы превратились в годы, прошлое начало меркнуть. Он слал матери деньги и поговаривал, как и все моряки, о возвращении домой, но чем больше оставался вдали от Йаллинье, тем меньше по ней скучал. Не стремился вновь спотыкаться о братьев и сестер, не говоря уж о корове. Не стремился в убогую лачугу с отхожим ведром в углу и вонью невымытых тел. Сырое узилище корабельного трюма – условия, может, и не намного лучше, но из трюма, по крайней мере, можно выбраться на просторную палубу и глазеть в бескрайнее небо, усыпанное звездами, с желтком луны.

* * *

Удивительно, что папа столько всего знает о крестьянском труде, – если учесть, что вырос он в лачуге, а третий десяток свой провел в морях. Мама говорит, он просто быстро все схватывает, чем бы ни решил заняться. Он переделал пансион в семейный дом, разводит коров, овец и кур на молоко, мясо, шерсть и яйца. Сажает кукурузу, горох и картошку на каменистой почве, каждый год меняет культуру, обустроил лавку на наших угодьях – продавать выращенное. Его покупатели приплывают на лодках из Порт-Клайда, со Святого Георгия и из Плезант-Пойнта, грузят плоскодонки продуктами и гребут восвояси.

Обнаружив, что, если принести на поля водоросли, почва остается влажной, а сорняки прут не так сильно, папа загоняет Ала, Сэма и меня собирать и разносить водоросли по полю. Натянув толстые холщовые рукавицы, мы по двое сталкиваем тяжелую тачку к кромке воды в отлив. Обрываем ламинарию с камней, выбираем морские желуди, крабов и улиток, грузим тачку губчатыми зелеными плетями, плоскими, пузырчатými по краям, широкими лентами, рифлеными, словно корочка от пирога. Рукавицы жесткие, неуклюжие: проще хватать водоросли голыми руками, и мы снимаем рукавицы, полощем руки в океанской воде – смываем слизь. А дальше толкаем тачку вверх по холму на свежевспаханное поле, где хватаем охапки холодной ламинарии, разминаем ее пальцами и разбрасываем вдоль грядок.

– Разгребайте, – командует папа оттуда, где мотыжит, – не удушайте посадки.

Папа вечно измышляет прожекты, как бы добыть денег. Его отара овец прибывает, и хотя папа продает шерсть местным, однажды решает собрать побольше и выслать туда, где шерсть вычешут, высучат, покрасят и продадут в другие штаты по более высокой цене. На

следующее лето он придумывает с соседом рыболовный заездок в бухте между Бёрд-Пойн-том и Хэторн-Пойн-том. Теперь вот зима, и он решает, что надо собрать пресный лед, его можно погрузить на корабли и легко перевезти пароходом ближними морскими путями в Бостон и далее. Он собирает его в леднике, который построил Капитан Сэм, – ледник про-стаивал порожним десятки лет.

Как любой урожай, лед – штука хрупкая и переменчивая: яркое солнце или внезапная буря способны его уничтожить. Никаких гарантий, что папе заплатят, нет – пока лед не при-будет в Бостон. Папа ждет до февраля, когда лед на пруду Вайнэла отрастает до четырна-дцати-шестнадцати дюймов, и предлагает другому фермеру деньги, чтоб тот помог ему счи-стить снег лошадьми и плугом. Ледяными утрами с рассвета на ногах, они таскают лошадью по льду чистилку – приспособление из нескольких досок, сбитых между собой так, чтобы получалась плоская платформа футов в восемь шириной, а к ней приделан трехфутовых скребок – счищать лед потяжелее, помокрее. Несколько мужчин разделявают лед ножов-ками, разгорячаются за работой, сбрасывают с себя пальто, шарфы и шапки. Труд тяжелый, но эти люди и лошади к тяжелому труду привычные.

Когда глыба льда отпилена и болтается в воде, двенадцать дюймов над тягучей водой, мужчины берутся за багры – длинные шесты с острыми концами, гонят лед, куда им надо. Дальше – нудная работа: нарезать и погрузить эти глыбы на прицепы, в которые впряжены лошади, и довезти их до ледника за хлевом. Там ледяные блоки будут лежать под опилками; часть приберегут на продажу местным, а остальное будет ждать, пока в бухте не снарядят судно до Массачусетса.

В утро заготовки, когда папа отбывает из дома, я одеваюсь впотымах, напяливаю слой за слоем свитеры и штаны поверх длинного белья, натягиваю две пары носков. Встречаюсь с Алом внизу, и мы отправляемся в туман, выдуваем теплый воздух друг на дружку, двига-емся к пруду Вайнэла – поглядеть, как лошади таскают плуг туда-сюда по толстому льду, углубляют колеи. Тихо, словно мука из сита, падает снег, сбивается в наметы.

Отца замечаем издали, он ведет Черныша с плугом. Папа нас тоже видит.

– Не выходите на лед! – кричит он.

Добравшись до уреза воды, мы с Алом стоим молча, смотрим, как мужчины трудятся. Черныш норовисто взбрыкивает, трясет головой. Нервный он конь: я целые часы проси-живала в стойле, изобретая способы его успокоить. На нем удавка, которую я соорудила несколько дней назад, – чтобы управлять им, если его что-нибудь напугает.

Один работник сломал багор о лед, все отвлекаются, советуют то и это, и тут я замечаю, что Черныш медленно скользит к краю льда. Внезапно все пронизывает тонкое ржание. Глаза у коня закатываются от ужаса, он падает в удушающе-ледяную воду, мечется, бьется. Плуг раскачивается на кромке. Не задумываясь, я бросаюсь к отцу по льду.

– Черт бы драл, вернись! – орет папа.

– Хватайся за удавку! – кричу я, показывая себе на горло. – Пусть не дышит!

Папа знаками призывает нескольких мужчин, они берутся все вместе, плечом к плечу, – папа посередине, остальные держат его за ремень. Он нависает над головой коня, хватается за веревку, натягивает. Через миг Черныш затихает. Папе удается вытянуть его на лед за сбрую, сначала передние ноги, следом брюхо и наконец – мощные задние. Мгновение конь стоит, застыв, расставив ноги, будто статуя. А затем склоняет голову и отряхивает гриву, разбрызгивая воду.

За ужином в тот вечер папа рассказывает Маммее и маме, что я – самый своенравный и упрямый ребенок у него в семье, и шею он мне за то, что я выбежала на лед, не свернул по одной-единственной причине: моя сообразительность, возможно, спасла Чернышу жизнь. Утонувший конь, мы все понимаем, – громадная потеря.

– Интересно, в кого она такая, – произносит мама.

* * *

Вечерами, раз или два в месяц, местные фермеры приезжают в гости выпить виски и поиграть в карты за обеденным столом. Папа отличается от них – неброскими манерами и шведским акцентом, но того, что все они – фермеры и рыболовы, для братства достаточно. Мама с Маммеей отбывают спать, а мы с Алом сидим на лестнице, где нас не видно, и слушаем байки.

Чем больше Ричард Вутен пьет, тем больше болтает:

– В том Тайном туннеле сокровище, как бог свят, точно. Придет день, клянусь, я лапуто на него наложу.

Мы с Алом заворожены историей Тайного туннеля. Согласно местным легендам, двухсотфутовый туннель выкопали в скале рядом с Бёрд-Пойнтом первые поселенцы – чтобы прятаться от заезжих пиратов и от индейцев абенаки.

– Я вот прям совсем рядом был. Вот *эдак* почти, – говорит Ричард. Голос у него делается тише, и приходится прижиматься к самым перилам, чтобы расслышать. – Темнотища, глаз выколи. Ни единой звезды в небе. Лезу внутрь с фонарем. Копаю невесть сколько, не час, не два уж точно.

– Сколько раз ты эту байку рассказывал – сто? – фыркает кто-то.

Ричард не обращает внимания.

– И тут вижу: блестит сокровище.

– Да ладно.

– Вижу, говорю же, своими собственными глазами! И тут...

Мужчины бурчат и смеются.

– Ой, да ну!

– Придумывает на ходу.

– Выкладывай, Ричард, – говорит папа.

– Исчезает. Вот так. – Я слышу щелчок пальцами. – Как раз когда я к нему потянулся.

Было – и сплыло.

– Вот непруха-то, – выкликает кто-то. – Тост за сокровище!

– За сокровище!

На следующий вечер мы с Алом выходим из дома со свечным огарком и добираемся до Бёрд-Пойнта. Вход в туннель темен и загадочен, нашу мерцающую свечку то и дело задувает. Двигаемся вглубь, вокруг – зловещая тишь. Через пятьдесят футов дорогу нам преграждает каменная осыпь. У меня странное облегчение: возможно, мы бы и сами дальше не осмелились. Нашли бы мы спрятанное сокровище? Или же пропали бы в глубинах туннеля на веки вечные?

Мы с Алом ищем приключений всюду. Через несколько недель он будит меня посреди ночи, палец прижат к губам, шепчет:

– Пошли со мной.

Я натягиваю домашнее платье поверх ночнушки и старые кожаные туфли поверх носков и вылезаю из уютного кокона постели. Оказавшись снаружи, вижу сияющий оранжевый шар в нескольких сотнях ярдов, на пристани, отражение мечется по воде. А затем осознаю: горит корабль.

– Уже несколько часов горит, – произносит Ал. – Каботажник, щелочь возит. Курсом на Томастон, как пить дать.

– Может, папу разбудить?.

– Не.

– А вдруг он помочь может?

– Шлюпка с командой прибыла к берегу недавно. Ничего никто не может поделаться.

Больше часа сидим мы в траве. Сухогруз пылает во мраке, его разрушение – тоже красота. Я глазею на Ала, лицо его подсвечено сиянием. Думаю о его любимой книге – “Остров сокровищ”, о мальчишке, который удирает в моря, искать зарытое сокровище. Миссис Краули, видя, как часто Ал листает эту книгу с ее полки, подарила ему “Остров сокровищ”, когда школу распустили на каникулы. “Мореходу Алу, – написала она на обороте обложки опрятным почерком. – Желаю тебе многих приключений”.

Через несколько месяцев остов того каботажника оголяется в отлив. Папа с Алом добиваются к нему на лодке, чтобы отодрать от корпуса дубовую обшивку, потом выпрямляют, уложив штабелем под груз, и перестилают этими досками пол в леднике.

* * *

Все будние дни мы с Алом вместе ходим в четвертую школу Уинга в Кушинге, в полутора милях от дома. Ходок я нестойкий, добираемся мы подолгу. Я стараюсь сосредоточиться на шагах, но падаю так часто, что колени и локти у меня вечно в синяках и царапинах, ватные подкладки не помогают. Боковые стороны стоп жесткие и мозолистые.

Ал постоянно жалуется:

– Иисусе, коровы – и те быстрее тебя. Я бы уже за это время туда и обратно успел.

– Ну и давай, – говорю я ему, но он никогда не уходит.

Попроше, если подавать корпус вперед, а равновесие держать руками, но и это получается не всякий раз. Когда падаю, Ал вздыхает и приговаривает:

– Ну же, теперь точно опоздаем. – Но, когда подымает меня, старается изо всех сил.

Иногда мы ходим в школу с двумя соседскими девочками, Энн и Мэри Коннор, – но лишь когда их мать настаивает. Они цокают языками и пинают сучки на дороге, когда я спотыкаюсь и отстаю.

– О господи, опять? – бормочет Мэри, и они перешептываются между собой, чтобы мы с Алом не слышали.

В школе я жду, пока раздевалка не опустеет, и лишь затем снимаю наколенники и налокотники, прячу их в судок с обедом. Другие дети бывают злыднями. Лезли Бур ставит мне подножки, когда я иду между партами за учебником, и я падаю на парту к Гертруд Гиббонз.

– Поосторожнее, недотепа, – бурчит Гертруд.

Мне вообще-то есть что сказать. Мало у кого из нас в школе Уинга номер четыре жизнь – загляденье. Мать Гертруд Гиббонз сбежала в Портленд с мужчиной, работавшим на бумажной фабрике в Огасте, – и ни слуху ни духу с тех пор от нее. Отчим Лезли бьет его ремнем. У сестер Коннор нет отца: он не ушел – его просто не было. Это маленький город, мы все знаем друг о друге больше, чем хотелось бы.

Однажды днем мы с Алом сидим на школьном дворе, обедаем в тени ильма, и тут Лезли и еще один мальчик принимают нас дразнить:

– Что с вами такое? Вы ненормальные, ясно вам?

Кончики ушей у Ала краснеют, но он помалкивает. Он маленький и щуплый, не чета этим крепышам с табаком за щеками. Да и не хочу я, чтобы он за меня заступался. Я старше его на год с лишним.

Мимо идет девочка из моего класса, Сэди Шниц. Тощая, суровая, крепкая, как стебель подсолнуха, кареглазая, круглолицая, с нимбом кудрявых волос-лепестков. Упирает руки в боки, наставляет на мальчишек подбородок.

– Хватит уже.

– Сэди Бекон, – ухмыляясь, произносит Лезли. – Так тебя, кажись, звать?

– Сдается, не стоит тебе играть со мной в клочки, Лезли Бур. – Обращаясь ко мне с Алом, Сэди говорит: – Ничего, если с вами посижу?

Ал не в восторге, но я хлопаю по траве рядом с собой.

Сэди делится со мной сэндвичем – тоненький кусок мясного рулета на хлебе с маслом. Рассказывает, что живет с двумя сестрами постарше в квартире над аптекой, где одна сестра трудится продавщицей. О родителях не заикается, а я не спрашиваю.

– Ничего, если я и завтра с вами побуду? – спрашивает она.

Ал впивается в меня взглядом.

– Конечно, – говорю.

До сих пор Ал был мне единственным напарником. Он знаком мне так же, как стены в кухне или тропа к хлеву. Было б здорово, думаю я, завести подругу.

* * *

На суше Ал застенчив и неуклюж. Говорит немного. В толпе ведет себя так, словно предпочел бы оказаться где-то еще. Не знает, чем занять руки, и те свисают непомерными перчатками у него с запястий. Но в океане, когда мы догребаем до одного из папиных синевелых буйков, Ал целеустремлен и уверен в себе. Быстро дернув за веревку, он уже знает, сколько омаров набилось в ловушку глубоко под водой.

Ал всегда хотел ловить омаров. Летом ему исполняется восемь, и папа решает, что мальчик дорос учиться. Берет Ала с собой на старом ялике, несколько вечеров в неделю, а иногда и я еду с ними. Мы выгребаем так далеко, что наш белый домик смотрится точкой среди холмов. Мне сидеть посреди океана в маленькой лодке нервно: у меня и на суше-то с равновесием неладно. Вода вокруг глубока и темна; доски грубы, лужицы соленой воды щиплют мне босые ноги, мочат подол платья. Я копошусь и вздыхаю, мне нейдет поплыть обратно. А вот Ал – в своей стихии.

Папа вручает нам по донке. Это простая снасть: суконная нить, пропитанная льняным маслом и намотанная на деревяшку, которую он обстругал с обеих сторон, чтоб лучше держала нить. На конце – здоровенный крючок и свинцовое грузило, чтоб снасть шла на глубину. Папа учит нас вешать наживку, которую держит в старом ведре, накрытом доской. Нитку мы разматываем медленно – и ждем. У меня ни одной поклевки, а снасть Ала – чистое волшебство. Может, вся штука в том, как он наживку сажает? Или как подергивает за нитку, чтоб рыба верила, будто наживка – живая? Или еще из-за чего-то – из-за безмятежной уверенности, что рыба точно придет? Полдесятка раз у Ала между указательным и большим пальцами возникает едва уловимый дерг, и Ал в ответ резко тянет за нитку – чтобы крючок впился, – а затем, перебирая руками, вытаскивает бьющуюся пикшу или треску из морских глубин через борт в лодку.

С ловкостью хирурга он вынимает крючок из рыбьего рта и распутывает снасть. Наставляет, что весь обратный путь будет грести сам. Когда оказываемся у пристани, он показывает ладони, красные, ободранные, и улыбается. Гордится мозолями.

За несколько лет Ал восстанавливает папин старый ялик и учится строить и оснащать собственные ловушки, сооружает верши и рамы из всяких деревяшек, вяжет из бечевки мормышки, утяжеляет их камешками. Верши у него получаются даже лучше папиных, хвастает он – и не врет: они кишат омарами. Строит за хлевом рыбацкий сарай, где держит ловушки и бочки с наживкой, конопатку и буйки, рыболовные сети и гвозди. Вскоре он уже ведает синевелыми буйками и продает омаров покупателям из Кушинга и аж из самого Порт-Клайда.

Ал ждет не дождется, когда уже кончится книжная учеба. Он просто время коротает, говорит, считает деньки, когда сможет все время проводить в своей обожаемой лодке.

* * *

Миссис Краули говорит мне как-то раз – ничего приятнее мне сроду не говорили, – что я одна из самых толковых учениц в ее жизни. Задолго до всех я разбираюсь с чтением и арифметикой. Она всегда задает мне больше на дом – и больше книг для чтения. Я ценю этот комплимент, но, может, умею я бегать и играть, как все прочие дети, была бы такой же неусидчивой и невнимательной. По правде говоря, когда погружаюсь в книгу, я меньше осознаю боль в непослушных руках и ногах.

* * *

В школе нам рассказывают о судилище над сэлемскими ведьмами. По словам миссис Краули, с 1692-го по 1693-й двести пятьдесят женщин обвинили в ведьмовстве, сто пятьдесят бросили за решетку, девятнадцать повесили. Их могли осудить по “заявлению о призраке”, то есть по утверждению обвинителя, что обвиняемая являлась ему привидением, и по “отметинам ведьмы” – родинкам или бородавкам. Сплетни, молва и слухи считались уликами. Верховный судья Джон Хэторн славился своей беспощадностью. Выступал скорее карателем, чем непредвзятым судьей.

– Он нам родня, между прочим, – говорит мне Маммея, когда после школы я пересказываю ей урок. Мы вдвоем сидим у “Гленвуда” в кухне, штопаем носки. – Помнишь тех троих Хэторнов, уехавших из Сэлема посреди зимы? Через полвека после судилища дело было. Убегали от срама.

Вытаскивая очередной носок из кучи, Маммея излагает мне историю Бриджет Бишоп, хозяйки таверны, которую обвинили в краже яиц и в том, что она превращается в кошку. Бриджет была чудачка, чьи яркие наряды – в особенности красный лиф, украшенный кружевом, – считали признаком дьявола. После того как две покаявшиеся ведьмы засвидетельствовали, что Бриджет участвовала в их шабаше, ее арестовали, бросили в промозглую узилицу и кормили там гнилыми картошкой да свеклой и похлебкой. Всего несколько дней в подобных условиях, говорит Маммея, – и почтенная женщина начнет смахивать на затравленного отчаянного зверя.

В зале суда перед злорадствовавшей толпой Джон Хэторн спросил ее: “Откуда тебе знать, что ты не ведьма?”

Она ответила: “Ничего в этом не смыслю”.

Судья Хэторн прищурился. Вскинул указательный палец. Указал им на Бриджет, и она отшатнулась, словно от удара. “Ты глянь, – сказал он. – На прямой лжи тебя ловлю”. И хлопнул ладонью по столу – Маммея хлопает ладонью, показывая, как это было, – и обвинители со зрителями заходятся в неистовстве.

Бриджет Бишоп знала, что все кончено, говорит Маммея. Ее приговорят к смерти, оставят болтаться на Висельном холме, пока кто-нибудь сердобольный не срежет труп – может, посреди ночи. Как и многие приговоренные, она была одиночкой средних лет, с домом и собственностью, которые уже конфисковали. Кто возьмет ее сторону? Кто вступится? Никто.

В конце концов губернатор Массачусетса пресек разбирательства. Один за другим присяжные заседатели отреклись от своих слов, раскаялись и пожалели, что так поспешили судить. Лишь Джон Хэторн помалкивал. Ни малейшего огорчения не выразил. Его репутация хладнокровного изувера пережила даже его смерть через двадцать пять лет – мирную кончину в довольстве и уюте.

Маммея рассказывает мне о проклятии, наложенном Бриджет Бишоп на потомков Хэторна. Ну, не проклятие, конечно, а предупреждение, наказ.

– Нельзя не чтить ту женщину, – говорит Маммея. – Единственной силой, какой владела она, – навести на него страх Божий! Или, может, какой другой страх. Но я в это верю. Думаю, предки твои притащили ведьм из Сэлема за собою. Их духи населяют этот дом.

– Да что ж такое. – Мама громко вздыхает за стенкой. Считает, что ее мать забивает мне голову небывальщиной. Считает, что лучше б я поменьше обращала внимания на байки Маммеи да побольше – на штопку.

* * *

Я спрашиваю папу о проклятии, но он говорит, что ничего про это не ведаёт, хотя знает, что Хэторны – выводок, знаменитый своей неукротимостью. Лютый, свирепый шотландско-ирландский клан, перебравшийся в Новую Англию из Северной Ирландии в 1600-х, они быстро нажили репутацию жестоких к тем, кого считали своими врагами.

– Били квакеров, обдуривали индейцев и продавали их в рабство – такое вот творили, – говорит он.

– Откуда ты все это знаешь? – спрашиваю я.

– Пивал я как-то раз виски с твоим дедом, давным-давно, – говорит он.

* * *

Весной моего десятого года мама на сносях. Готовим в основном мы с Маммеей, а готовка на излете долгой зимы – по большей части из старых корнеплодов, припасенных в погребе, из сушеной рыбы и мяса из коптильни, супы да похлебки. На воде так холодно и бурно, что папа с Алом на плоскодонке выходить в море не могут. У Сэма сухой кашель и сопли. Земля вымочена насквозь: если падаю по дороге в школу, потом весь день замурзана и в сырой юбке. У всех нас поводов для радости немного.

В один сырой вечер по дороге из школы домой я вижу впереди на дороге папину бричку, знакомый барсучий силуэт в синем капоре на сиденье у папы за спиной – все понятно: мисс Фрили едет к маме на роды. Добираюсь домой, и мы с братьями и с отцом сидим в кухне. Дождь лупит по крыше и в окна, тяжкий, густой, и все мы чуем сырость аж в костях. Сдираю с себя носки, развешиваю над плитой. Даже дровяной дым из “Гленвуда” волглый.

Ребенок рождается без затруднений. Мама уже привыкла. Но после рождения Фреда она меняется. Когда нужна младенцу, встает не спеша. Посреди дня вручает его Маммее и идет прилечь. Фред вопит, требует молока, мама не дает, и Маммее приходится разводить коровье водой и добавлять туда чуточку сахара. Суёт мыльный камень в духовку, обертывает тряпичной и кладет Фреду в колыбель, когда тот спит, но это маме не замена, приговаривает она.

Мы с Алом спешим из школы домой – вынуть Фреда из кровати и покачать в кресле, искупать его в жестяном корыте. (Перед купанием он воняет кисло и сыро, словно его вытащили из земляной ямы в поле. А после купания пахнет, как щеночек.) Все стараемся придумать, как развеселить маму. Маммея печет фунтовый кекс с лимонными корками – мамин любимый. Папа строит комод для ее белья, с четырьмя ящиками. Синий – любимый мамин цвет, и я решаю удивить ее – раскрасить то-сё в доме в синий.

Ал, когда я излагаю ему свою затею, качает головой.

– Если стул покрасить, это не поможет.

– Я знаю, – говорю я, но надеюсь, что все же поможет.

Спрашиваю разрешения у Маммеи, зная, что папа не одобрит.

– Замечательно, – говорит она и выдает мне денег на краску.

После школы я покупаю галлон самой яркой синей краски, какая находится в универмаге О. С. Фэйлза и сына,⁹ две кисти с конской щетиной, жестяной поддон и банку скипидара, прячу все это в зарослях, когда устаю тащить домой. Назавтра иду проверить то место, а там ничего нет. Опасаюсь, что кто-то украл мои припасы, но, оказавшись дома, вижу их в сарае.

– Я все равно считаю, что это дурацкая затея, – говорит Ал, – но не одной же тебе всю работу делать.

Мокрая краска – цвета пера синешейки и блестит, как гладь озера. Мы с Алом оттираем старой ветошью двери сарая, раму и ободья фургона, салазки, решетку для сена и горшки с геранью. Начал красить – остановиться нет мочи. Отправляемся к Фэйлзу за добавкой, возвращаемся и красим парадную и заднюю двери – и все рамы кроватей.

Уговариваем маму спуститься и посмотреть, что мы для нее сделали, и она обнимает нас с Алом.

Все потихоньку налаживается. Теплеет, и мы с мамой опять отправляемся в отлив на прогулки на остров Малый, но теперь берем с собой и моих братьев. Ал убегает в травы, Сэм собирает морских звезд в лужицы на мелководье. Мы бродим по галечному пляжу, ищем ракушки и устраиваемся на привал под старой елью. Мама снимает с себя малыша Фреда, укладывает на спинку, Фред воркует и курлычет. Я сажусь на валун, наблюдаю за мамой. Кажется, ей лучше. Но время от времени я вижу, как она вперяется в пространство, на лице – ничего, и это меня тревожит.

* * *

Миссис Краули опрятным почерком выписывает на доску стихотворение Эмили Дикинсон, и по классу расплзается ворчание.

– Это шестилетка написала, что ли?

– Что это за тире сплошные? Грамматика такая?

– Мой дедушка говорил, что она просто чудная старуха. Христова невеста, – говорит Гертруд Гиббонз, наша классная всезнайка.

– У Эмили Дикинсон действительно была тихая жизнь, – говорит миссис Краули, закладывая выбившуюся седую прядь за ухо. – Один мужчина разбил ей сердце, и она стала эдакой затворницей. Всегда одевалась в белое. Никто и не догадывался, что она – поэт: ею восхищались из-за ее чудесного сада. Она часами просиживала за маленьким письменным столом, но толком никто не ведал, чем она занимается. После ее смерти в ящике стола обнаружили папку со стихами. Многие страницы, исписанные четким почерком, с очень странной разметкой, сами видите. Сотни и сотни стихотворений.

⁹ Универмаг “Фэйлз и сын” был открыт в Кушинге в 1828 г. и остается старейшим постоянно действующим универмагом в США; современный магазин существует с 1889 г. (он переехал с первого адреса, но работать не прекращал; с того времени носит имя Огастэса С. Фэйлза).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.